

# КАЛИНА КРАСНАЯ



LUCID DREAMS

Калина Красная

**Lucid dreams**

«Издательские решения»

## **Красная К.**

Lucid dreams / К. Красная — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-965122-8

Калина Красная опровергает высказывание Ахматовой о том, что «самое скучное на свете — это чужие сны...», честно и кропотливо вырисовывая абсурдные, сказочные, иногда ужасные образы, и органично, с шукшинской прямоотой и детской непосредственностью, вплетает их в бытовые сюжеты, зачастую связанные с неприкрытым натурализмом жизни.

ISBN 978-5-44-965122-8

© Красная К.  
© Издательские решения

## Содержание

homo somnus	6
МУЗЕЙ	8
МАТЬ ГЕРОЯ	27
ПАРТИЙНЫЙ СЕКРЕТАРЬ	30
НАШ ЯША	35
МАЛЬЧИКИ КРОВАВЫЕ	42
Конец ознакомительного фрагмента.	50

# Lucid dreams

## Калина Красная

*Дизайнер обложки* Илья Мартынов

*Редактор* Александр Агафонов Научный сотрудник ИО РАН

© Калина Красная, 2019

© Илья Мартынов, дизайн обложки, 2019

ISBN 978-5-4496-5122-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## homo somnus

*В сущности, я все время живу во снах,  
а в действительность наношу лишь визиты.  
Ингмар Бергман*

Согласитесь, мы принадлежим к цивилизации бодрствования. «Хватит спать, проснись и пой, сонная муха» и проч., чего только не слышит человек в свой адрес. Если кто спросит по телефону: «Ты что спишь?» для большинства из нас (по крайней мере, для меня точно), это покажется обвинением в смертном грехе. Да и сам сон, несмотря на внимание к нему и отведение под это дело целой науки под названием «Сомнология», рассматривается как нечто утилитарное – средство, придающее человеку силы для дневного бодрствования (на что мы тратим эти силы – другой вопрос). Для меня лично, существование во сне, это отдельная и самостоятельная сфера жизни и, возможно, эти рассказы тому подтверждение.

Самое интересное, на мой взгляд, исследование природы сновидений принадлежит Джону Данну в его работе «Эксперименты со временем», где он рассказывает о своих предиктивных снах, пытаясь объяснить их, насколько это возможно. Автор не считает себя человеком со сверх-способностями, утверждая обратное, что подобные сны видит каждый, но не каждый пытается их зафиксировать, или хотя бы внимательно отнестись (вы понимаете, что я говорю не о сонниках, типа, «к чему сняться тараканы?»). И барьером для целостного взгляда на вещи, для понятия природы времени (автор утверждает, что во сне человек путешествует между прошлым и будущим) является наш здравый смысл, сопротивление которого автоматическое и чрезвычайно мощное, отключается во время сна. К слову, Джонном Данном увлекались многие писатели, Борхес и Набоков, в частности, и в «Необратимости» (Irreversibel) Гаспара Ное в конце фильма и, следовательно, в начале истории, героиня читает как раз «Эксперименты со временем».

Что до меня, я не могу похвалиться вещами снами (хотя по Данну, повторяю, их не существует); похвастаться крепким и здоровым сном, так же не могу – но часто вижу интересные сны. И эти сны, «настоящие сны», как я называю, они не пропадают в памяти, некоторые невозможно забыть не только утром, но и в течение всей жизни. Потому что эти сны отчетливы, они чувствуются и проживаются. А как забудешь жизнь? В общем я долго, запоминая эти сны (и даже потом записывая, по совету друзей), рассматривала их как данность, личное качество, не собираясь что-либо делать из них, ну разве что пару фильмов.

Короче, однажды ночью, это было в феврале, я не могла долго заснуть, и в отчаянии, в помутненном от бессонницы сознании, натянула на голову трусы, чтобы не мешал утренний свет. Не скажу, что я заснула, но в очень тонком сне, коротком видении, я увидела (скорее почувствовала) инопланетянина, который выглядит как человек, и его прислали на Землю, найти тургеневскую девушку. В общем, абсурд – «как во сне». Когда же я встала, к счастью, это был выходной, я не могла делать что-либо осмысленное и бодрое, присущее человеку со здравым рассудком, так что ничего не оставалось, как продолжить абсурд, и я села писать.

Так и получился первый рассказ «Трепых». Было это в 2014 г., с тех пор я не прекращаю этих абсурдных занятий. Немного изменилась природа сновидений: если поначалу я видела весь сюжет от начала до конца, с героями, деталями, переплетениями отношений, как в большинстве рассказов – «Жестокий роман», «Ловушки снов», «Прерванный полет», «Тертлин» и др, потом оставалось лишь литературно обработать увиденное, то теперь, задача усложнена тем, что проскальзывают лишь образы – главная идея, как в рассказах «о. Савватий», «Чуточку Джобса», «Введение в драконологию», другими словами надо прикладывать больше усилий

для написания. Наверное, это тенденция возникла еще и потому, что качество сна с возрастом не улучшается. Но в любом случае, выходит, я ничего не придумываю – все это реальность?

К. Красная

## МУЗЕЙ

### *Из описания новой выставки на официальном сайте музея:*

*«Недавно в нашем Музее начала работу масштабная ретроспективная выставка, посвященная коллективизации и голодомору. Огромное количество архивных фотоматериалов и других документов (часть из них до недавнего времени была недоступной), открылось широкому зрителю, который теперь имеет возможность подробно ознакомиться с этим периодом Новейшей Российской истории.*

*В первом зале, предваряющем выставку, находится большое красное полотнище с портретами Ленина и Маркса. Всю противоположную стену занимает баннер – увеличенный фрагмент газеты «Правда» от 7.11.1929, с цитатой Сталина о том, что за 3 года Россия должна стать «одной из самых хлебных, если не самой хлебной страной в мире». На стенах следующего – главного зала экспозиции, посетители увидят большое количество фотографий. Внимательный зритель, рассматривая их, удивится тому, как меняются со временем выражения лиц у крестьян.*

*Начинается ретроспектива 1926 годом – «Первые колхозники села Лохово». Группа из нескольких человек обедает на траве. Перед ними – хлеб, лук и газета «Правда» (не иначе, как подложенная репортером специально), позади лес, пашня и несколько лошадей на пашне. Похоже, сидящие только что смеялись, отчасти – чтобы побороть стеснение перед фотографом, но может, и действительно от радости новой жизни. К тому же, дело происходит весной. С лиц еще не сошли улыбки, красивый мужчина в центре композиции, безусловно выстроенной неизвестным автором, одной рукой держит папироску, а другой обнимает девушку в светлом платье, под дружный хохот бригады, прерванный, должно быть, щелчком затвора. Эти колхозники еще непуганы, они выглядят наивными и беспечными.*

*Дальше веселье исчезает, взгляды на снимках суровеют: лица сельхозработников, что стоят рядом с тракторами и сеялками, большие ничего не выражают, а потом и вообще – люди сами по себе уже не имеют значения. Например, на фотографии, где парень в рубахе с закатанными рукавами держит за веревку быка, а пара босых мужиков выглядывает сзади, написано протравленными в фотоземльсии буквами – «Племенной бык колхоза «Красный боец». Последний проблеск «человечинки» можно прочесть в глазах седоватого мужика с бородой на стенде, посвященном раскулаченному – это Никандр Кудрявцев (1897 – 1955), портной деревни Полицы, Лоховского сельсовета, Лютовской волости. Он стоит на фоне бревенчатой стены в кожаных сапогах и двубортном пиджаке под руку, очевидно, с женой – высокой художавой женщиной в цветастом платке, которая держит в руках березовую ветку. Супруги улыбаются. Большая надпись на противоположной стене гласит: «В губернии за 3 года было раскулачено 358 246 крестьянских хозяйств».*

*Фоторяд колхозников завершает групповой портрет головорезов с прозрачными и лютыми глазами, как у мужчин, так и у женщин. Они смотрят прямо в объектив – и уже никакого намека на улыбку или смущение не видно в этих лицах. На этикетке значится: «Члены правления колхоза «3-й решающий год пятилетки».*

*В центре зала – витрина, где разложены музейные экспонаты: документы ответственных работников, проводивших коллективизацию – партбилеты, удостоверения, письма, постановления, несколько газетных вырезок, а также их личные вещи: винтовка, наганы и плетки. За стеклом висит кожаная куртка героя гражданской войны Морозова Леонида, активного борца с кулачеством, председателя колхоза «Активист», репрессированного в 30-х.»*

## РЕПОРТЕР

Редактор мерил шагами скрипучий паркет кабинета – туда-сюда, туда-сюда, раздавая ЦУ перед командировкой. Когда дымовая завеса от его папирос превысила все нормы КЗОТа, вселяя надежду, что может хоть пожарная сигнализация прервет этот поток слов, редактор, наконец, истощил красноречие:

– Успехов вам, товарищ. Расспрашивайте людей на местах, устанавливайте связь с массами, больше прямой речи и сведений с мест событий – этого требует нынешняя обстановка. Снимайте, снимайте и снимайте! Сведите на нет все интеллигентские рассуждения, минимум политической трескотни, ближе к жизни. Держите руку на пульсе времени! Учтите, сымок сделать, это вам не отчерк написать, – в который раз произнес он заезженную редакционную шутку, и добавил будничным тоном – не забудьте про паек и командировочные, кстати – склад до шести.

После этих, прокуренных работниками пера кабинетов редакции, так хорошо было оказаться на улице, где уже начинал формироваться вечер. Раскаленная от напряженной дневной смены махина солнца прошлась своим горячим валом по крышам жилых домов и учреждений, ветер, взявшись за работу коммунальщиков, гнал по мостовой всякий ненужный мусор и пытался содрать со столба кустарное объявление, а в шум машин, звон трамваев и гомон масс врезались аполитичные птичьи трели. На редакционной стоянке ждал новый Форд, и шофер открыл дверцу, встречая репортера:

– Фарт тебе, сестренка, вышел – радовался он. – Во, зажили! Глянь, какой фиделькрант, а какая тут кожа?!

– Это все буржуазные ценности!

– Трудовой процесс выполнять сподручней на хорошем автомобиле, факт.

Обсуждая Форд отечественного производства, что поступил недавно в редакцию, они добрались до Чистых прудов. Водитель знал все закоулки, и автомобиль быстро завернул в Подсосенский, где распугал всех кошек во дворе двухэтажного дома. «Вон та правая дверь и есть склад» – сказал шофер и посигналил на прощание. Репортер позвонила. Через минуту на пороге появилась тетка в фуфайке, замотанная в грязный, деревенский платок:

– По какому вопросу? – недовольно спросила она.

– У меня разрядка – репортер протянула бумажку.

– Экие вы несознательные, товарищи! Когда спохватились! В нашем учреждении почти не осталось в настоящий момент продукции, а госкредитов отпускают в малом количестве, – заворчала тетка, тем не менее, приглашая пройти вверх по грязной лестнице, от перил которой остались только крючки. В помещении стоял спертый запах, который заполняет все учреждение, как старорежимные, так и советские. На стенах второго этажа среди приказов и постановлений красовался плакат «Фруктовые воды несут углеводы». Тетка открыла дверь с табличкой «Приемная».

– Маняша, тут опять за продовольствием пришли, думают у нас бездонная бочка – крикнула она секретарше, сидевшей под большим фикусом. На секретарше с цветом лица, сливавшимся с грязно-серыми стенами, было серое же в полоску платье, а бесцветные волосы заколоты в жидкий пучок на затылке.

– Прислали так прислали, Анна Ильинична, – строго сказала секретарша, – да не болтайте лишнего, смотрите на чье колесо воду льете.

Служащая взяла бумажку, прочла, деловито встала, одернув свой мышинный наряд и постучалась в дверь кабинета:

– К вам товарищ из газеты.

Репортер вошла. Первое, что бросилось в глаза, был портрет Ильича, который шурился из-под кепи на засаленных обоях. Потом она поразилась, какой же маленький кабинет у заве-

дующей (вот она ленинская скромность!), но присмотревшись, поняла, что такое впечатление производит огромное количество папок на стеллажах и просто сложенных на полу. За рабочим столом, который занимал почти все свободное пространство, притулилась пожилая женщина в круглых очках. Седые волосы были убраны под гребенку, плечи покрывал вязанный платок. Женщина что-то писала, она подняла голову, выпучив умные и грустные глаза и устало улыбнулась:

– Да-да, в таком печальном положении мы пребываем. Боролись за свободу, равенство, братство, а сами, как видите, сидим в этой крысиной норе, даже жалованье получаем по четвертому разряду и без сверхурочных.

Корреспондент с интересом разглядывала захламленный стол начальницы: лампа с зеленым абажуром, телефон, на краю недопитый и, видать, остывший жиденький чаек в стакане с подстаканником. Вокруг все усыпано хлебными крошками; тут же стопка бумаг с резолюциями, на которых торчали уголки с фиолетовыми надписями «не возражаю», «отменить», «поставить на вид», стеклянная чернильница, темные пятна, а возле густо исписанного перекидного календаря, стояла фотография молодой красивой женщины с короткими кудрями, приклеенная прямо на лицевую сторону партийного удостоверения.

– Это товарищ Инесса, – сухо сказала заведующая, – так вы по какому вопросу?

– Командировка на Волгу, буду собирать материал о коллективизации – репортер осторожно присела на краешек табурета.

– Понятно. Учтите, отдаю последнее, закончилась всесоюзная житница. А что они хотели? – доверительно сказала собеседница – от этого нацмена добра не жди, я так всегда говорила и на пленумах, и Володе лично. Он прозрел лишь перед третьим ударом. А меня обвинили, что это я довела его своей подозрительностью. ЭТОТ тогда сказал мне так: «Будешь много болтать, мы Вдовой объявим Елену Стасову, партия все может». Думаете, Ленка не согласилась бы? Да она за партию родную мать продаст.

Заведующая поежилась, как от холода, закуталась в свой платок и со вздохом продолжила:

– Да, я понимаю, наше время прошло, вы теперь другие – новые люди новой формации, знаю, смеетесь над нашими ошибками. Думаете, небось, что поступали бы по-другому на нашем месте? Ленина вот грибом называете! Анекдоты придумываете про нас с Володей, вот, – она открыла ящик стола и достала толстую папку с кудрявым ангелом в центре красной звезды на обложке. Репортер прочла надпись: «Рассказы о Ленине. Том 4729». – Воистину великое ленинское наследие! Ленин всегда живой: вот его портрет с чебурашкой, вот список городов, по всему миру, где он стал крёстным отцом; а вот история жизни Владимира Ленина Монтесинос Торрес, коррупционера, между прочим, из Перу – сказала она, многозначительно подняв палец, и бережно переложила листы в папке. – А тут фотографии, где маоисты покупают значки с Лениным, только почему-то лысого предпочитают – вздохнула заведующая, – октябратские звездочки не берут. Но больше всего, конечно, песен про Володю. Последним у меня Егора Летова сочинение, Вы то, часом, ничего новенького не слышали? – она с надеждой взглянула на корреспондента – может хоть рэп какой деклассированный?

– Нет.

Начальница поджала губы. Затем, встав из-за стола, и с трудом протиснувшись в узком пространстве, она открыла дверь в приемную:

– Мария Ильинична, я сама проведу товарища.

Они пошли по коридору и спустились на первый этаж.

– А что с Зиновьевым и Каменевым сделали эти мерзавцы? Вы знаете, я на пятнадцатом съезде поддержала доклад Каменева. И кто за нами пошел? Пятеро из шестисот, Лёва уже тогда голоса не имел. Остальные лишь в ладоши хлопали да глотки подхалимские драли, когда ЭТОТ лез во власть. Думали, он их отблагодарит, как же – бормоча себе под нос, заведующая возилась

с замком. Наконец, дверь открылась. Тусклая электрическая лампочка осветила помещение, по стенам которого располагались пустые стеллажи. Запыленный плакат «Свобода Равенство Братство» чуть оживлял казенную бесприютность.

Здесь было холодно. Вынув из кармана красный платок, который носят работницы-передовички, заведующая повязала им голову, затем пошла вглубь склада, куда с трудом доходил свет, и открыла заветку на голубом ларе с облупившейся краской, прибитом к стене. Дверцы, украшенные деревянной резьбой, распахнулись, обдав кисловатым запахом гнили. Зав. складом взяла палку с загнутым, как у клюшки для гольфа, концом и стала выгребать содержимое. Из глубины выкатилось несколько картофелин. «Подставляйте тару! Что стоите?» Корреспондент быстро открыла рюкзак. «Вот и все – сказала заведующая через минуту, на всякий случай, еще раз пошерудив в ларе, – теперь взвесим». Поставив рюкзак с картошкой на весы, она пошевелила губами и подвигав туда-сюда гири, произнесла – «Кило триста». Помусолив химический карандаш, зав. складом заполнила накладную, присев за необструганный, грубо сколоченный столик: «Распишитесь». Корреспондент поставила подпись в том месте, куда ткнул короткий и грязный от картошки, палец.

– Спасибо, мне этого хватит, я мало ем.

– Ха-ха-ха, да кто ж теперь много ест, батенька? Разве что члены политбюро? А на Волге, я слышала, некоторые несознательные гражданки даже детишек своих малолетних поедают! Но вы пишите обо всем по-ленински честно, разговаривайте с трудящимся, коллективным крестьянством, – и не забывайте о классовой борьбе! Будьте всегда начеку, не давайте чуждому элементу запутать вас – наставляла она.

Потом внезапно закручинившись, зав. складом села на скрипучую табуретку возле окна, облокотилась на шаткий свой столик, по бабьи подперев голову руками, и затянула песню. Какое-то время, покуда репортер шла по коридору, и даже на улице, порывы ветра доносили до нее эти жалобные звуки – протяжным тонким голосом выводила заведующая свою песню, так сильно перевирая мотив, что Варшавянка смахивала на Лучинушку.

## МУСЯ

Перед закрытием музея смотрительница отключила электричество в зале, и Муся украдкой присела на их старый зеленый диванчик, вспомнив, как в детстве отец здесь качал ее на ноге. Свет уходящего дня пробивался сквозь шторы, тоже зеленые, с кружевом по краям. Это были шторы из гостиной, и на них даже были еще заметны чернильное пятно, что оставила Муся, когда училась правописанию, и дырочка посередине, которая, кажется, была здесь всегда. Справа от окна стоял отцовский письменный стол, лампа и книги на нем; портрет, знакомый с детства, висел на стене. Муся чуть отодвинула занавеску – за окном шелестела рябинка, покачивая созревшими гроздьями, ветер полоскал красный транспарант «Долой безграмотность» – Мусина работа. Внизу прогрохотала телега. Мужик в буденовке крикнул «тпрууу», натянув поводья и остановился рядом с дворником, их бывшим дворецким Северьяном Поликарповичем:

– Ей, Карпыч, одолжи полтинник? С жалования верну, вот те крест.

– Все кресты нынче комиссары посрывали, – проворчал дворник, роясь в карманах – как там у вас в деревне-то?

– Ааа, – махнул рукой мужик, – а то ты не знаешь? Весь хлеб эти... (он закрутил головой, не слышит ли кто?) паскуды вывозят. Жди голода, Карпыч. У Маруськи, слышал, пацан умер, восемь месяцев.

– Ох, беда-то какая, – забормотал дворник, доставая полтинник.

Меж тем смотрительницы в коридоре громко обсуждали новость, которая лихорадила весь штат музея – Аполлинарий Константинович, их директор, уходит на пенсию, –

и не по своей воле. Кого пришлют – неизвестно. В разговоре то и дело всплывало слово «чистка».

Муся сидела в полумраке и напряженно вглядывалась в тускнеющую даль за окном. Ей хотелось запомнить решительно все, что она теперь чувствовала. День заканчивался, значит скоро она будет свободна и вернется к работе. Муся отчетливее видела композицию своего нового произведения и тот ускользающий образ, который она хотела схватить в воображении. Перед глазами была брошенная деревня и лужа посреди дороги, сорванные с церкви кресты, но еще, что-то еще должно быть...

– Товарищ Травникова, так вы опять за свое? Не барышня вы нынче, а народное имущество у нас портить запрещается! Табличка для кого висит: «Граждане, на мебель не садиться!?!» Вы у нас, чай, не безграмотная, в заграницах учились, пока мы тут на вас горбатились, – Нюра, главная смотрительница, стояла перед ней, уперев руки в крутой зад.

Муся нервно вскочила, одернула затертую свою, парижскую еще юбку и быстро вышла, хлопнув дверь. Извиняться не хотелось, но и ссорится было опасно – Нюра, крикливая бабенка, дочь их бывшей горничной, быстро делала карьеру в музее.

Раздраженно поправляя круглые очки, то и дело спадающие с носа, прямого, тонкого, с горбинкой посередине, как у отца, она быстро шла в мастерскую. Так громко называлась лачуга музейного художника-оформителя. А настоящая мастерская, которую они с папой когда-то вместе проектировали, теперь была занята под фондохранилище. Там лежат вещи, не вошедшую в основную коллекцию музея: старое бабушино бюро, пара китайских ваз с разбитыми краями, бронзовый Будда с камина, какая-то рухлядь; также здесь была спрятана от девственных взоров комсомолок огромная картина из кабинета отца, где персиянка с розовой пышной грудью сидела на траве, раздвинув ноги. Еще Нюрина мать, плевалась на эту картину, называя Розовую персиянку «бесстыжей толстожопой», вызывая приступы смеха у отца. Тут Муся почему-то вспомнила семейное предание про то, как была шокирована эта новая горничная, только что привезенная из Тверской губернии, увидев ее, Мусю, с сигаретой – курить младшая дочь профессора Травникова начала в 13 лет. Нюрину мать попросили тогда погулять с девочками, заменить няню, страдавшую от болезненных кровей. Горничная, пав на колени, принялась что-то шептать и иступленно крестится на пожарную каланчу, увидев, как младшая из барышень, в шелках и кринолине, угощает папироской мальчишку в подворотне. «Не упрасивали бы всей семьей ее тогда остаться, не кричала бы на меня сейчас ее дочь» – подумала Муся. Да, черт с ней, с Нюрой, а вот по «Розовой персиянке» она скучает. Проходя мимо бывшей своей мастерской, она иногда заглядывала в окно, чтобы полюбоваться на картину, которая обычно стояла там, прислоненной к стене. Сейчас вид загородил старик Мошонкин, что слесарил в музее. Он менял обивку на стуле. «Наконец-то, – подумала Муся с сарказмом, – взяли за народное добро». Стул валялся сломанным с той памятной ночи, когда жители окрестных деревень ворвались к ним в имение. Муся, обеспокоенная вестями с родины, только вернулась из Парижа, где проходила стажировку от Академии Художеств. Она отлично помнит ту ночь в середине зимы, когда их сторож, по сговору, конечно, открыл ворота, и пьяная толпа мужиков и баб влетела в дом. К счастью, все обошлось, папа смог довольно быстро связаться с кем надо по телефонной линии, передал трубку главарю, хромому мужику, недавно вернувшемуся с фронта, которому очевидно пригрозили на другом конце провода, и дальше гостиней эта толпа не проникла. Но вид экскрементов в тонкой итальянской вазе долго потом стоял перед Мусиными глазами.

Папа так и не смог оправиться от потрясения. Вскоре его не стало. А еще через несколько месяцев они получили известие, что муж старшей сестры Лики, Георгий, погиб в Крыму. У них остался сын Алексей. Поначалу всей семьей думали уехать за границу, но бросить на произвол судьбы папину Коллекцию, которой он отдал всю свою жизнь, они так и не решились. Через некоторое время эта коллекция, так же, как и дом их и все имущество, были наци-

онализированы. Дочерей профессора Ильи Владимировича Травникова взяли в штат музея и даже милостиво предложили жилье в бывшем флигеле прислуги. Старшая, Лика, стала заместителем директора по научной работе, младшая – художником-оформителем. Ни Мусин диплом Академии Художеств, которую она закончила с отличием, ни двухгодичная стажировка в Париже, где училась у самого Модильяни, не произвели впечатление на новую власть, и разряд она получила самый низкий. Эталонами для всех уже были окна РОСТА и плакаты ЛЕФовцев. Муся же демонстративно не признавала пролетарского искусства. Она работала сначала в жанре кубизма, потом стала заниматься абстрактной живописью, а сейчас, кажется, нащупала что-то новое. Почти прервались связи с коллегами, которые уловив дух времени, бодренько перешли на новый социальный реализм. На выставки ее больше не звали, понимая, что она не будет подделываться под крикливую советскую риторику. «Да и где выставляться?» – пожимала плечами Муся, представляя прокуренный Рабочий клуб и стены его, засиженные мухами.

– Не нравится мне левое искусство! – такое она могла сказать только в семье – меня тошнит от Родченко и Эля Лисицкого. Почему я должна подделываться под них? – кипятилась она в домашних разговорах – мой Учитель – Вася.

– Что ж ты не уехала тогда со своим Кандинским в Берлин?

– Ты издеваешься, Лика? Как бы я вас оставила?

Правда, в семье Муся всегда находила поддержку. – Ты работай, работай хоть в стол. Ты же талант, не смей унывать – говорила мама, Прасковья Федоровна (дома ее звали Пушей). – Я верю, ты будешь висеть в лучших музеях мира! И Муся трудилась не покладая рук, не теряя формы, оттачивая до совершенства каждый штрих... для того, чтобы пополнить очередной ярус своих работ на домашних антресолях.

Прасковья Федоровна любила искусство, разбираясь во всех течениях, школах, направлениях, она всегда оставалась лучшим советчиком своего покойного мужа, профессора Травникова. Жена переводила его книги, статьи, договариваясь с издательствами, вела переписку, беря на себя всю рутину, а вот сейчас была не у дел. Советская власть в ней тоже не нуждалась, и Пуша стала домохозяйкой, как это теперь было принято называть.

Некогда изысканная, посуда семьи Травниковых нынче была разнообразной до причудливости. Среди изящных чашек северского фарфора с вензелем под дворянской короной, можно было увидеть жестяные кружки; в шеренге серебряных ножей то и дело появлялись неотесанные латунные новобранцы, но скатерть на столе в небольшой комнате, что выполняла теперь роль гостиной и столовой одновременно, всегда оставалось безупречно белой.

– Как тебе, Пуша, не надоело крахмалить скатерти, – удивлялись дочери, – кому нужен теперь твой *grand tenue*?

– Нет уж, девочки, пока жива, я буду ужинать на белой скатерти, а на кухонном столе пусть кухарки едят – неизменно отвечала Прасковья Федоровна.

Впрочем, ужин на этой скатерти чаще всего был самый плебейский. Вот и сейчас Пуша раскладывала по тарелкам картофелины в мундире. Она делилась со своей старшей, Ликой новостями, привезенными из Ленинграда.

– Представляешь, мне предлагали контрамарку в бывшее Дворянское собрание на Девятую симфонию. И я отказалась. Не могу видеть весь этот сброд, что сидит там в партере, представляю нэпманов и пролетариев с семечками.

– Но Девятая симфония осталась девятой...

– *Ma cher*, Бетховен в таком окружении становится *divertissement*. Да, кстати, я слышала свежий анекдот из Петербурга.

– Пуша, сейчас опасно называть Ленинград Петербургом.

– Ну и я сейчас не в очереди за постным маслом! Очень смешной анекдот – один еврей в учреждении...

– Мама, вообще-то нам не до смеха – прервала ее Лика. Она убрала прядь со лба, потуже заколов шпилькой светло-русую копну. На высоком лбу показались морщинки, – я давно хотела сказать, но была не уверена, а сегодня узнала наверняка, мне по секрету нашептали, что в Наркомате рассматриваются три кандидатуры на должность директора музея. Окончательной резолюции пока нет. Двоих я не знаю, какие-то дамы из выдвигенки, а третий – Ротенберг.

– Тот самый?

– Да, мама.

– Боже! Видишь ли ты это? – воскликнула Прасковья Федоровна, обращаясь тем не менее к портрету супруга, висевшему над столом. – До чего дожили! Мерзавец, карьерист, пригнул же Илья змею на груди. И этот негодяй будет распорядиться Коллекцией? Unreal absolutely.

– Пуша, страшнее другое, нам тут не будет места. Он отомстит за все.

Прасковья Федоровна задумалась:

– А этот знакомый, что ухаживал за тобой в прошлом году, с биржи труда? Товарищ, как его...

– Да я ходила к товарищам на прошлой неделе тайком от тебя. Он, кстати на бирже труда уже не работает, там другой, сидит за антикварным столом такой прыщ в картузе, – «метр с кепкой», как они говорят. Что-то пишет, перекладывает бумаги с места на место, вечно курит, а окурки, представляешь, тушит о французский гобелен на стене. «Вы, – он сказал мне, – гражданка Травникова, хоть и дочь многоуважаемого профессора, а все равно по сути, остаетесь нашим идеологическим врагом и допустить, чтобы вы пребывали на ответственной должности в советском учреждении, я не имею права!» Это на словах только, а на самом деле, думаю, ему на лапу нужно.

– Что-что?

– Ах, Пуша, теперь все так говорят, это советский жаргон. Взятка. А что мы можем им дать?

Женщины замолчали. Ротенберг, бывший лучший ученик профессора Травникова, присвоивший себе исследование о русском импрессионизме, над которым они вместе работали, выпустив, тайком от профессора, монографию на эту тему и затем поливавший грязью уже покойного Травникова в прессе, был персоной нон грата в семье. Не удивительно, что у Прасковьи Федоровны защемило сердце, и Лика побежала за микстурой.

– Ладно, что-нибудь придумаем, – через некоторое время сказала Пуша, отдышавшись, – не говори только Мусе пока.

Во дворе послышался лай, возня и детский смех. Это вернулся со школы сын Лики, который оседлал их старую, слепую гончую, размахивая палкой, как саблей.

– Алекс, живо домой, у тебя английский!

Муся откинулась на спинку стула. Она еще побаивалась смотреть на только что завершённую работу, но в душе было знакомое чувство, что она сделала именно то. Она уловила самую суть и ей открылась какая-то высшая правда. Что это даже не она, а Тот водил все последние часы ее рукой, изображавшей пустые крестьянские избы, лужу посреди дороги и ... младенцев. Она устало вытянула ноги в стоптанных красноармейских башмаках и затянулась. Руки еще дрожали. Внутри было опустошение. Кто там сказал про радость творчества и самоотдачу? Какие глупости. Муки творчества – это да. Недели поисков, взлеты и падения, потери и находки, темное отчаяние, мысли, не отпускающие даже во сне. Постоянное напряжение. Жизнь, кажется, висит на волоске. Как скульптор, снимающий с камня пласт за пластом, чтобы отсечь все лишнее и из бесформенности, хаоса, выявить именно ту единственно чистую форму, что живет в глубине его души, любой настоящий художник отмечает лишние мысли, идеи, концепции, возможно наработанные годами, убирает ненужные линии, цветовые пятна и груз стереотипов, для того, чтобы в конце получился тот самый новый образ, который обретет новую,

свою уже жизнь. И вот объект готов, ты знаешь, что он получился, но нет сил даже на радость. Лишь где-то в глубине чувство: – «Да. Это Оно».

Муся медленно брела по темным аллеям парка. Как всегда, в такие минуты она чувствовала, что отец где-то здесь. Идет рядом, справа от нее, по мокрой дорожке. Вскоре между стволами лип начала поблескивать черная гладь озера, по волнам плыла унылая песня. Муся с содроганием подумала, как совсем недавно эта вода была столь манящей, влекущей в себя... На другом берегу мерцал огонек. Это рыбаки, члены колхозной рыболовецкой артели готовились к новому трудовому дню. Казалось, свет костра проникал в самое сердце Муси. Он объединил ее с сельхозработниками. Тонкий луч, протянувшийся от них, пошел дальше и связал ее с другими рыбаками, с теми, что закидывали свои сети две тысячи лет назад. Сейчас Марина чувствовала, что она соучастник той дивной, непрерывной работы, что творится на земле вечно. Которую вершат отдельные души. Благодаря чему, может, и существует земля.

А между тем в музее стало еще тревожней. Как всегда, когда нет достоверных вестей, каждый день появлялись новые слухи, один глупее другого. Начал накапливаться страх. Боялись все. От видных научных сотрудников, до уборщицы Земфиры. Атмосфера накалялась. Люди стали подозрительны. Вчерашние подруги, мирно делившие один письменный стол, начали коситься друг на друга – не хочет ли та, другая, занять его весь? Начальники боялись, что их подсилят подчиненные. Подчиненные боялись начальников. Поговаривали, что вот-вот начнутся сокращения. Все ждали момент вступления в должность нового директора.

А на семейном совете Травниковых единодушно было принято решение готовиться к отъезду. Михаил Владимирович, их дядя, брат отца, эмигрировал уже давно. Сейчас он обосновался в предместьях Праги. Имел свой бизнес. Часть семейного капитала он перевел заблаговременно в швейцарский банк. Дядя Миша всегда был прагматичным человеком, чего не скажешь об их отце, который все свое состояние бескорыстно вложил в Коллекцию. В тех редких весточках, что удавалось переправить с надежными людьми, дядя почем свет ругал новую власть и просто настаивал, чтобы семья брата кончала с нею заигрывать, собиралась и сваливала. «Вы ничего там не измените, от вас уже ничего не зависит, спасайте себя» – писал дядя Миша.

Травниковы стали паковать чемоданы. Документы обещала помочь сделать Анастасия, дочь Пушиной подруги, которая несколько лет назад вышла замуж за дипломата Пельганова. Тогда он был простой клерк в министерстве, а сейчас делал успешную карьеру. Недавно они даже переехали в Дом Правительства на Всехсвятской улице, а теперь готовились к длительной командировке в Иран.

Каждый рабочий день стал для Лики мукой. И Муся мучается, хотя сидит у себя, пишет объявления, красит стенды и никого не видит. А вот Лике надо проходить по коридорам и с каждым разом отмечать повышение накала ненависти в глазах сотрудников. С бывшим директором у Лики были самые душевные отношения, и все это знали. Даже ходили слухи определенного толка – люди не могут вообразить, что у начальника и подчиненного может быть что-то общее – дело. Они выдумывают то, что может связать мужчину и женщину по их понятиям. На днях Лика обнаружила, что взломали ее почтовый ящик. Кто бы это мог быть? Идти в отдел, отвечающий за это, не хотелось. Ребята, сидящие там считали себя технической элитой, и все сотрудники музея не решались к ним лишней раз обращаться. Да к тому же документы на выезд вот-вот будут готовы, видно Пельганов имеет немалый вес в тех кругах. Даже не верилось, что скоро они окажутся в Праге. Пройдут по Карлову мосту и будут смотреть на воды Влтавы. Лика смутно помнила, как ребенком была там. Бабушка Люся, мать отца, брала ее с собой, когда ездила поклониться мощам Святой Людмилы, княгини чешской. Надо будет обязательно найти эту часовню в Старом Городе.

Однажды утром к столу Лики, цокая каблуками и виляя бедрами в узкой юбке, подошла секретарша босса (секретарша без босса, – пошутила про себя Лика, – как всадник без головы) и протянула бумажку. «Распишитесь здесь, Елизавета Ильинична» – сказала она, отводя при этом в сторону сильно накрашенные глаза. Взглянув на штамп бумажки, Лике стало не до шуток. Аббревиатура на этой круглой печати холодила сердца...

Через три дня Лика возвращалась от следователя. Надо было спешить на электричку – родные волновались, а деньги, чтобы позвонить им, закончились. Но торопиться не хотелось. Хотелось прийти в себя. Все обдумать. Разговор на Лубянке носил мирный характер (ну что вы, Елизавета Ильинична, это не допрос, просто разговор двух людей, болеющих за дело):

– Согласитесь, вы не совсем дисциплинированно вели эту бумажную волокиту. Ох, как я вас понимаю. С каждым годом бюрократия разрастается. Даже не представляете, как раздут у нас теперь аппарат, сколько в нашем ведомстве сегодня отчетов, планов, приказов – не поверите, просто работать некогда. Сплошные бумаги. Конечно, вы что-то упустили, не разобрались. По невниманию, исключительно, по невниманию, я даже и думать не могу, не то, что говорить, как некоторые, что в корыстных целях. И тем более, вы точно не принадлежите к незаконным группировкам, а были, признаюсь, подозрения. Я же понимаю, вы – дочь известного профессора, интеллигентный человек. Творческий. Кстати, а как ваша сестрица? Говорят, она гениальный художник? А сын-то исправил тройку в четверти по-английски? Право, стыдно, с такой-то бабушкой, честное слово.

Кажется, он знал про них все. И несмотря на миролюбивый тон беседы (хозяин кабинета даже не взял подписку о невыезде), Лика не обольщалась. В течение разговора она все время ждала, когда же следователь спросит об их отъезде, но он не спросил – похоже, еще не пронюхали. Теперь отпали последние сомнения – надо срочно уезжать.

Лика шла по бульвару к метро, шуршали под ногами листья, два гасторбайтера мели улицу. Вечером, когда Лика добралась до дома и рассказала о разговоре, они принялись искать дешевые билеты.

Сборы прошли очень быстро. Прощание с друзьями, раздаривание всех ценных вещей, что не могли взять с собой. Забрать решили только фамильное серебро и драгоценности. «Остальное наживем, – шутила Пуша – были бы кости, мясо нарастет». Она сразу как-то подтянулась, помолодела, вернулась ее былая осанка. Стала даже подкрашивать губы. Только сигарету из этих накрашенных губ, к ужасу дочерей, уже не выпускала. Огромной проблемой было определить куда-то старика Джима, их слепую гончую. Особенно Алеша переживал за своего друга. Наконец нашли собаке новых хозяев. Бывший ученик Прасковьи Федоровны, с которым она несколько лет занималась английским, согласился забрать Джима. Душераздирающей была сцена, когда Джим, отлично, все понимавший, покорно уходил по дорожке, понунив голову и опустив обычно вертлявый хвост. Алеша, забыв свои стрелялки, лежал на тахте, отвернувшись к стене, и плечи его дрожали. Но самую большую драму переживала все-таки Муся. Не было даже разговоров, чтобы увезти ее работы. Всеми силами она пыталась распределить их по друзьям, знакомым, друзьям друзей. Заворачивала. Укладывала. Развозила по чужим домам – как детей.

А за несколько дней до отъезда стало известно, что кандидатура Ротенберга на пост директора все-таки не прошла. Но это уже ничего не меняло.

Травниковы старались не афишировать свое бегство. Впрочем, они мало кого интересовали, все внимание было приковано к новой директрисе. Эта дама, известная в музейных (и не только) кругах, славилась своим крутым нравом, даже ходили легенды о том, как она обращалась со своими подчиненными. Хотя директор еще не приступила к своим обязанностям и никто, практически, ее в глаза не видел, весь коллектив уже дико боялся. Распространялись самые нелепые слухи. Штат музея пребывал в страхе и трепете.

Выезжать решили поздно вечером, чтобы только успеть на последнюю электричку. Во-первых, подальше от чужих глаз, во-вторых, бдительность охранников на проходной (а мало ли что?) к вечеру ослабевала. Последним, что сняла Пуша со стены был портрет Ильи Владимировича. Они молча присели перед дорогой, закрыли старую калитку, обвитую диким виноградом, посмотрели напоследок на дом и двинулись в путь. Тяжелые сумки старались нести, а не катить – вдруг шум колесиков встревожит соседей. На улице уже было темно. Шли по аллеям старого парка, вот озеро, где Муся когда-то вглядывалась в огонек костра. Сейчас там пусто. Сезон рыбной ловли закончился. Глухо шумели старые деревья, прощаясь с ними, где-то лаяла собака, с противоположного берега доносились басы сабвуфера, и раздавался женский визг. Шли молча, стараясь как можно быстрее проделать свой путь, обойти главное здание музея, миновать проходную, а там все. Свобода и новая жизнь. В проходной горел тусклый огонек. Наверное, охранник Сережа, их сосед, уже похрапывал на своем посту, склонив, как обычно, голову над столом. Муся тихонько открыла дверь.

– Здравсьте, Марина Ильинишна, – все вздрогнули от громкого крика Сергея. – Дык знать вы и вправду собрались валить? Ну делааа... А, я-то, лох, все не верил... мне тывщ старший лейтенант гритт, следи в оба, мол, чтобы не съ... лись. А я все не верю, грю, дык как можно, тывщ старший лейтенант – почему-то радостно забубнил Сергей, почесывая курносый в веснушках нос – Мне приказ дали вас не выпускать. Да и правда, что вы придумали, куда ж вам ехать-то? Что там на чужой земле – малина? Кому мы там нужны, эмигранты? Я видел по ящику, как наши там живут, ой мама не горюй. Тут хоть и не так ладно, а все свое. Дом. Землица то, родная, а? Ну были у Лизаветы Ильинишны проблемы на работе, так с кем не случается? Распилили что-то не так? Не поделились с кем нужно? Ну прокололись, да кто ж вас осудит! Все поймут. Зла не держите, все ж мы люди-человеки, всем жить надо – продолжал Сергей, несмотря на протесты Лики. – В следующий раз умнее будете.

И взяв официальный тон, добавил командным голосом:

– А теперь разворачиваемся и следуем по месту жительства. Без фокусов!

## **ХЛЕБНАЯ СТРАНА**

Весь день репортер осуществляла фотосъемку колхозников села Большое Лохово. Кажется, особенно удалась фотография на пашне, где бригада обедала в поле и красивый бригадир, под общий смех, а еще и для того, чтобы порисоваться перед женщиной-фотографом, принялся лапать одну из колхозниц. Избач только что принес им газету «Правда» из читальни (она еще посмеялась про себя, представив, что любой, кто увидит этот снимок, будет уверен, что именно фотограф подложил газету колхозникам). Никто из крестьян, правда, не умел читать.

Лишь к вечеру репортер добралась до деревни Полицы, где на хуторе жили ее бабушка с дедушкой. Электричества в доме не было, точнее им не проводили, как единоличникам, и все допоздна говорили «за жизнь» под керосиновой лампой:

– Вот ты грамотная, в городе живешь, командировки, вишь, тебе выправляют, можа и с самоим Михайло Иванычем, едри-твою, за ручку здоровкаешься. Так скажи, куды бедному хрестьянину податься? Я обшиваю тутошних жихарей, все в моих шубах ходють.

Недавно даже галифе сшил, французское шво! У нас форсил один – Петька Питерский. Приехал, едри-твою, с заводу, я грит, двадцатипятитысячник, и тебе такие штаны, как на мне, ни за что не сработат. Я подсмотрел покрой и принес ему на другой день такие же, даже поширше небось, литру самогонки на спор выиграл.

Бабушка заворчала: «Зато и лежал потом три дня на печке, ни за водой, ни за дровами не допросишься. Ну дед и правда, всем упаковает, никто не жалуется – обратилась она к внучке, – и мерки: рукав, талью, бедра – всех в деревне наизусть помнит».

– Что мне в колхозе делать? Коровам хвосты крутить? – кипятился дед, – а Лёнька Скобарь, он у нас, едри-твою мать, теперича главный по колхозизации ентоу с финкой к горлу, – вступай мол, и все. Приходили надьсь, чуть зингер не уперли, паскуды, хорошо, хоть батька евонный мне рукавицы заказал на Николу и деньги отдал вперед, это спасло, а то куковал бы щас без машинки. Так Лёнька гармонь мою откулачил, она нонче в клубе.

– Какой Лёнька Скобарь? Герой войны Морозов Леонид?

– Герой, жопа с дырой – сердито сказала бабушка, грохнув на стол сковородку с картошкой, – всю войну у Мани Поливанихи в подвале просидел, пасёстра евонная, гражданская, как теперича говорят, жена. А ранение получил, когда за брагой полез в кадку (дед с бабкой рассмеялись). Маня брагу поставила и видать закрыла плотно пробку, этот котяра полез ночью, тутось кадку-то и рвануло, ему обручем пальцы срезало наполовину, вот тебе и ранение.

– Бог шельму метит – добавил дед, задумчиво поглаживая мех недошитого кроличьего треуха.

Они сидели за большим рабочим столом, с которого сгребли лоскуты и овчины, а выкройки баба Нина засунула за картину «Алёнушка», что висела над ними. Под «Алёнушкой» был приколот к стене портрет Сталина с трубкой, который нарисовал дедушка на обратной стороне какой-то сельповской рекламы (легенда об умении деда очень похоже рисовать Сталина передавалось в семье репортера из поколения в поколение). Под столом пес Узнай догрызал свою кость. Как Сталин всегда был с трубкой, так и собаки у них все были Узнайками, последнего из рода Узнаек застрелят фашисты в 41м, когда ворвутся в деревню. К этому времени дедушка с бабушкой все-таки вступят в колхоз.

Перед сном бабушка, вздыхая, перекрестилась на небольшую икону в темном золотистом окладе и пожаловалась: «Троица завтрева, а эти нехристи собраню какую-то учинили, всем надо итить».

Утром репортер решила сделать фотографию на память, так как через день предстояло двигаться дальше. Дед расчесал седую бороду, вымыл шею, надел новые хромовые сапоги и двубортный пиджак. Бабушка нарядилась в шерстяную юбку, кофту, перелицованную дедом из гимнастерки, и повязала цветастый платок. Обогнув пол-одонка сена, оставшегося еще с прошлого года, они вышли на задний двор, где возле пустого хлева (корову продали осенью) росла березка, и остановились подле нее – как-никак, Троица. Репортер поставила фотокамеру на штатив. Бабушка отломилась несколько веток, взяла деда под руку, и они замерли.

«Кхххр-кыр-кыр-ррррхх» – прокашлялся громкоговоритель на стене дома Палы Волкова, который находился сейчас в местах студеных и дальних, затем загудел, чихнул и сказал: «Слесарь завода Красный Путиловец товарищ Рыжов Василий выступил с инициативой — в целях выполнения соцобязательств, продлить свой рабочий день на...» и громкоговоритель, еще раз харкнув, умолк.

Волковы до конфискации имели большую избу, длинную, переходящую в хлев, потолки ее были низкими, а о притолоку в сенях бита не раз была хозяйская голова. Грустно смотрели вдаль, вслед хозяину, два небольших окна. Теперь эта изба стала колхозным клубом. Бревенчатый простенок меж наличниками был густо украшен березовыми ветками, а в центре букета торчало красное знамя. Рядом молчал громкоговоритель. Под крышей висел транспарант «Колхоз „Активист“ приветствует вручение государственного акта на землепользование. Спасибо тов. Сталину!»

Два стола для президиума были вынесены во двор, а мужики, бабы, старики, нарядные по случаю Троицы, пугливо рассаживались на лавки, стоящие в ряд. Дед остался поговорить с мужиком, что хотел заказать кепку-восьмиклинку. А бабушка показала на рябого усача с краю стола, который был бы неприметным, если бы не новая кожанка на нем: «Вон какой кожан дед ему сшил, теперича форсит». Репортер подошла поближе, представилась и показала редак-

ционное удостоверение. Усатый встал и протянул ей руку с двумя оторванными пальцами. Но тут его позвали. «Извиняйте, товарищ, срочное дело», – сказал он и побежал трусцой в сени. Митинг начался. Репортер достала кинокамеру.

– Дорогие товарищи колхозники и сознательные единоличные крестьяне! – начал речь уполномоченный из райземотдела. – Сегодня мы собрались для получения акта на землепользование! Сбылась вековая мечта трудового крестьянства – земля отныне принадлежит народу! По окончании митинга, излишки зерна, добровольно собранные в ваших дворах, будет торжественно вывезены на нужды пролетариата!

Крестьяне вяло захлопали.

Дед Никандра все так же стоял поодаль, разговаривая уже с другим заказчиком, бабушка смешалась с толпой, а Узнайка весело шнырял меж ног собравшихся.

Потом дали слово герою гражданской войны Леониду Морозову, по его красному лицу репортеру стало ясно, что за дела у него были в избе:

– Товщищи колхозники, теперича наша страна вступает в эпоху, ын-дыр-дын-инды-стерели...

– Индустриализации, – договорил уполномоченный и все засмеялись.

– Требуется от хидры мирового империализма оборона, должно дать всем миром отпор ксплуататорам, нужно больше танок и антомобилей. Почему я, к примеру, такой израненный, искаженный? (он поднял беспалую руку) Да потому что у нас не было еропланов, еб-твою-мать! – грохнул Ленька этой рукой по столу.

Краем глаза репортер увидела, как сплюнул дед Никандра и повернул к дому. Внезапно оживший громкоговоритель на стене прокашлялся и затянул «Вниз по матушке, по Волге».

Вечером корреспондент решила пройтись на берег. Дорога шла мимо клуба, где продолжали гулять после митинга. Она заглянула туда и чуть не споткнулась о пьяного, что валялся в сених. Внутри горела лампочка Ильича, плакат «Долой безграмотность» терялся в дыму, а затоптанные половицы ходили ходуном под ногами танцоров. Какой-то парнишка рвал меха дедовой гармонии. В круг выскочил красивый мужик с чубом и в очень широких галифе – Петька Питерский, как догадалась репортер. Он выпрямился, ухарски заломил на затылок кепку и запел:

Скобари живое мясо вы поедете домой  
На родимой на сторонке завтра праздник годовой  
У-у-у-xxx!!!

И пошел в присядку. Тут взвизгнула гармонь, навстречу ему выплыла красавица с большими сиськами. На ней была тугая ситцевая блуза, широкая юбка пониже колен и короткие боты на полных ногах. «Видать надоело Поливанихе с Ленькой-то своим колошматиться» – сказал кто-то. «Не, – хохотнули в ответ, – у Лени таперича токма на активисток стоять». В кругу засмеялись, а Манька, не обращая внимания, развела концы цветастой шали, повела плечами, и громко запела, выпятив грудь, наступая прямо на Петьку:

Пела песню на горы  
Шли по Питеру гулы  
Ехал мальчик по Невы  
Слышал припевочки мои.  
Ий-йе-х!!!

Она крутанулась, махнув подолом, сиськи студенисто заходили из стороны в сторону, бойко затопотала, склонилась перед галифястым, тут же выпрямилась, отходя, давая место другим, и звонкий дробот каблуков вторил ей по кругу. В эту минуту, опрокинув табуретку, из-за стола резко поднялся Скобарь, который только что чекнулся с уполномоченным из райземотдела. Опрокинул стакан, зло сплюнул самокрутку и, расталкивая всех, вышел в центр. Кинул об пол кожанку, хлопнул в ладоши, словно потирая их перед делом и звонко ударил себя по ляжкам:

Мы с товарищем вдвоем на горку подымались  
По нагану заряжали драться собирались.  
Эх! Ссссучары подлы!!!

Он топнул ногой так, что стекла в избе задрожали. Назревала драка, кто-то уже вырывал из забора кол, уполномоченный поднялся разнимать противников, но репортер не стала ждать развязки любовной драмы и вышла на улицу.

Близилась сумерки, и соловьи рассаживались по веткам, готовясь к концерту. Где-то за рекой уже первый артист начинал свою партию. Дорога вела мимо длинного, с почерневшими жердинами загона, там пустовала изба Дубителя. Хозяин ее, сердитый мужик, которого не любили в Полицах, теперь был в Сибири – его с большим семейством выслали год назад. Дом их так никто и не занял, даже двери не тронули, хотя во всех отставленных избах распахнутые ворота уже на все голоса скрипели на ветру – боялись, потому что дубителя баба, Настя Черная, была колдуньей и все несчастья – корова ли заболит, объевшись некоси или мужик сильно запьет, обычно связывали с нею – «сделано» говорили в деревне. Корреспондент еще после митинга сложила здесь съемочную аппаратуру в уверенности, что возле этого дома все будет в сохранности. Так и есть – техника на месте. Выйдя за ворота, она обернулась, услышав чьи-то шаги. Лёнька Скобарь, с заметно распухшим глазом, догнал ее, и сходу поддев под руку, шутливо пропел: «Разрешите, фрау-мадам?» Пахнуло самогоном. Репортер выдернула руку. «Шутка, товарищ корреспондент, я не кадришь вас преследую – сказал Лёнька, показавшийся неожиданно трезвым – скажите, отчего это ваши родственники такие несознательные? Партячейка всех сагитировала в колхоз, тока энтим, хоть кол на голове теши. И ведь не вышлешь в Сибирь – один портной в округе. Шибко это портит отчетность, чесссслово, ведь поголовная коллективизация – и в его голосе зазвучала просьба – я уж не знаю с какими глазами и в райземотдел теперь являться. Подсобите вы нам, а?»

Репортер упрямо молчала, и они шли несколько минут в тишине.

– Колхозы скоро сделают Россию самой, что ни на есть, хлебной страной! Ты ж читала товарища Сталина, раз с городу приехамши? Вот и проработай сваво деда, коль ты корреспондент – Лёнька стал раздражаться и перешел на «ты» – все вступають, а эти бараны только пальцем в жопе...

Репортеру сделалось невыносимо тоскливо от его пропаганды, так как видела она далеко вперед. Голос Скобаря стал отдаляться, репортер задумалась отрешенно, разглядывая пустые глазницы изб и причудливые облака над крышами. Подул ветер и от сараев потянуло навозом. «Трактора, артели, колхозы... мужики не дурней паровоза... дед твой в жопе заноза, советская власть и с хлебом обозы... куды пританцуем?!»

## **ДИРЕКТРИСА**

Острый луч солнца проткнул довольно поношенные, зеленые шторы блэкаут, обрамленные кружевом, с маленькой дыркой посередине и чернильным пятном сбоку, осветил полумрак

комнаты и стол, заваленный книгами, сверкнул на горлышке Аква минерале, чуть задел монитор компьютера и добравшись до дивана, уколол Мусю в глаз. Она проснулась. Муся отвернулась от утреннего света и лежала какое-то время, пытаясь вспомнить странный сон, который, ускользая и путаясь в мыслях, ухнул окончательно на дно подсознания, оставив, однако, туманное предчувствие чего-то уже случившегося. Зазвонил будильник. Странно, как она научилась просыпаться за несколько минут до звонка. Муся пошарила телефон на икеевском столике и нажала на кнопку. Через несколько секунд Джим, открывший дверь лапами, с лаем ворвался в комнату и лизнул Мусю в щеку. Она вспомнила, что мама в Петербурге, и ей опять придется гулять с собакой. Потрепав Джима по загривку и чмокнув в холодный нос, Муся села на кровати и принялась натягивать джинсы.

В прихожей перед зеркалом Лика укладывала феном свои длинные русые волосы, и Муся, посмотрев на нее подумала, что ведь ни разу не видела сестру с короткой стрижкой. На кухне Алекс, уткнувшись в мобильник, лениво глотал мюсли.

– Доброе утро, Пуша прислала смс, что сегодня вечером приедет, – промычала Лика, зажав губами заколки.

– Доброе, систер, клево, надоел фаст фуд, хотя могла бы и позависать там, – ответила Муся, и присев на старый зеленый диванчик в прихожей, стала зашнуровывать ботинки.

– Алекс, живо давай, на английский опять опоздаешь! – крикнула Лика, наконец справившись с волосами. Она одернула офисный костюм, побрызгалась Kenzo и пошла в комнату за ноутбуком. – У меня научный совет полдесятого, я не могу опаздывать, если не успеваешь – скажи, я поеду одна. Даю тебе пять минут!

– Гоу! – завопил Алекс, грохнул тарелку в раковину и помчался за рюкзаком в свою комнату.

Муся с Джимом спустились во двор. Они обогнули футбольное поле на том месте, где стояла раньше будка охранников, нашли дырку в железном заборе, перебежали дорогу, подлезли под шлагбаумом и оказались в лесопарке. Муся отстегнула Джима, и он стал носиться по аллее вдоль озера, иногда принимаясь откапывать что-то в сухой листве. Найдя в кустах пустую пластиковую полторашку, он принес её хозяйке, бутылка трещала в зубах. «Джим, фу!» – крикнула Муся. В тот же момент на другом берегу, где строился жилой комплекс, словно по ее команде загрохотали машины – начался рабочий день. Муся, не дойдя до конца дорожки, повернула назад. Звякнула «телега», Муся достала телефон и с изумлением увидела сообщение от директора музея – та сама назначала ей встречу на завтра. «Прикольно – подумала Муся, – наверное, пригласит в проект (кое-кто из старых знакомых в отделе хранения слил инфу, что готовится масштабная, историческая выставка, посвященная 20—30м годам). Что скрывать, конечно, Муся была польщена таким вниманием, ведь она-то давно, пожалуй, дольше всех, работает с темой исторической памяти. Даже участвовала в нескольких международных фестивалях и особенно гордилась тем, что любимый художник Кристиан Болтански (по крайней мере приглашение было от его имени), позвал ее однажды в Берлин для участия в круглом столе, да вот как-то тогда не срослось.

Лика встречала маму на Ленинградском вокзале. Прасковья Федоровна вышла из поезда, вежливо, как всегда, попрощалась с недовольной чем-то проводницей в красной униформе и расцеловалась с дочкой. Пуша была в лодочках и, как всегда в строгом английском костюме, выглядела отдохнувшей и оживленной, а потом всю дорогу в машине делилась свежими новостями из Петербурга: один из ее старых друзей уехал в Америку к сыну, другой получил премию по литературе, а некий Станислав Георгиевич («Ну, Лика, неужели не помнишь? Профессор, занимается Ренессансом, к нам несколько раз приезжал, когда папа был жив») умер от сердечного приступа. Лика, к огорчению мамы, так его и не вспомнила, да и неудивительно – когда папа был жив, в их доме постоянно кто-то гостил. Доехали они быстро – пробок на дороге к тому времени уже не было.

Вечером, когда вся семья собралась за большим обеденным столом, Мусю что-то дернуло рассказать о приглашении директора музея, и она тут же пожалела об этом. Мама так запереживала и воодушевилась, что прямо незамедлительно хотела устроить праздник, Лика стала волноваться, что Прасковья Федоровна перенервничает и опять придется вызывать «скорую». Мама тут же полезла в буфет красного дерева, каким-то чудом, пережившим пару веков, достала фамильное серебро, собралась уже включать духовку, но дочери ее отговорили, хотя и с трудом:

– Пуша, давай закатим банкет завтра, когда Муся вернется, скатерть накроешь крахмальную, пусть все будет торжественно – убеждала Лика.

Но все равно, мама места не находила от счастья. Она надела новый костюм Zara, который подарили ей дочери на 8 марта, для того только, чтобы погулять во дворе с собакой. Весь вечер Прасковья Федоровна напевала, и что вообще невероятно – даже отказалась от просмотра нового сезона «Игры престолов». Она что-то перекладывала у себя в комнате, гремела, время от времени выходя на кухню к дочерям, которые по настоянию Лики готовили презентацию Мусино проекта в Power point.

– Твой час пробил! Ты долго работала и заслужила дивиденды, – в который раз говорила Пуша, – покажи всем на что ты способна! Как я рада, что дождалась, я всегда в это верила, я же говорила, что ты будешь висеть в лучших музеях, ты же талант! Эх, жаль, отец не видит, – обращалась она к фотографии мужа, висевшей над кухонным столом.

– Да уж, талант не пропешь, – смеялась Лика, – ты на пороге успеха, – вторила она маме, – хорошо, что мы тогда не уехали. Что ни делается, все к лучшему. Наконец в музее появились умные люди новой формации со свежими взглядами. Да, это смена парадигмы! Не упускай шанса, сестренка.

Муся, честно говоря, не ожидала столь бурной реакции, но под напором домашних она стала серьезно готовится к предстоящему разговору, и даже племянник в этот вечер не троллил ее, как обычно.

На следующий день Муся вышла из метро минут за 20 до назначенного времени. Молодой мужчина в пестром шарфе, стоящий рядом на переходе, говорил кому-то по блютуз-гарнитуре: «Бро, дай полтинник до получки? Хаха да, конечно с нулями, с тремя». Загорелся зеленый. Стая голубей, что тусовалась под памятником на другой стороне улицы тут же вспорхнула и полетела к сверкающим куполам недавно построенного храма, и дальше к музею. Муся шла по тротуару и так углубилась в себя, продумывая с чего начнет разговор, что едва не налетела на рекламный щит с самолетом и пальмой на фоне ярко синего неба. «Fuck» – сказала Муся.

Она решила начать разговор с идеи глобального Музея, потом охарактеризует своего главного героя – Вечного репортера, затем немного о сюжете фильма, чтобы подойти к самому главному – тотальной инсталляции, которую снимает репортер: пустая деревенская улица, лужа посреди дороги, младенцы, машины с хлебом...» Возле дверей с надписью «staff only» перед Музей возник охранник:

– Девушка, здрасьте, вы у нас к кому?

– Здравствуйте. Я к директору, мне назначено.

– Фамилия?

– Травникова.

– Тэк-с .... Марина Ильинична? – охранник сверился со списком.

– Да.

Он осмотрел рюкзак, перед тем как пройти через рамку, Муся выложила на стол мобильник с ключами.

– Пожалуйста, вам на третий этаж, – сказал охранник.

Муся решила быстро пройтись по залам музея. Бегущая строка на входе. Реклама. Свежевыкрашенные стены, ровный пол, белый потолок, лифт. Везде камеры наблюдения, вежли-

вые охранники в черных костюмах. Улыбчивые смотрительницы. Отремонтировали выставочные залы, новый экспозиционный свет, помещение стало огромным, расширили или это так кажется? От старого музея ничего не осталось, даже отцовской Коллекции – точно, полная смена парадигмы. На стенах висели огромные произведения модных медиа-художников, они навязчиво переливалось яркими красками, были технически совершенны и лишены мысли. «Все выверено, – подумала Муся, — рассчитано на успех». Она свернула в офисное помещение, там в коридоре шумели рабочие. Женщина в синей форме, которая до этого закрашивала пятно на белой стене, переругивалась со своим начальником, он ей на что-то грубо указывал, тыкал пальцем в пятно; впрочем, разговор шел по-азербайджански, лишь в конце, начальник сказал ей по-русски: «Да чтоб ты усралась и воды не было!» – и развернулся. Муся не смогла сдержать смеха, и оба посмотрели на нее злобно. Женщина нехотя взвалила на себя стремянку и направилась к лифту. Муся открыла большие двери в приемную. Блондинка с короткой стрижкой, в стильных очках сидела за компьютером.

– Здравствуйте, мне назначено, я Марина Травникова.

Секретарша оторвалась от экрана, где, кажется, просматривала сайт знакомств и сказала Мусе:

– Подождите немного, вас пригласят. Хотите кофе?

– Нет, спасибо.

Муся провалилась в мягкий кожаный диван. Полистала один из гляцевых журналов в лежащей рядом стопке: фэшн, дизайн, арт. Нервничая, Муся достала из кармана протертых джинсов пачку «Кента» и начала крутить её в руках. Вытянула ноги в старых бундесверовских ботинках, от волнения она то и дело поправляла спадающие с носа, круглые очки. Впрочем, сидеть пришлось недолго, вскоре ее пригласили. Она вошла в кабинет, заваленный книгами, журналами, объектами, картинами, среди которых Муся разглядела и «Розовую персиянку». Хозяйкой кабинета была женщина лет 50 с волосами ежиком и коротенькой челкой. Недостаток помпезности сверху возмещал толстый слой тонального крема и пухлые (уж не ботокс ли?) губы в коричневой помаде. Новый директор музея располагалась за огромным столом, который освещал дизайнерский светильник с абажуром треугольной формы. Она курила сигарету за сигаретой и все время говорила по двум айфонам попеременно, то на русском, то на английском. Постоянно раздавались сигналы чата в тончайшем макбуке. Муся разглядывала дивную прозрачную брошь на черном платье директрисы. Сверху на стене висел портрет отца, профессора Травникова. Муся открыла ноутбук, готовясь показать свою работу, и руки немного дрожали.

Наконец, директор отложила все трубки и сказала ей: «Спасибо, что нашли время». Муся уловила задушевные интонации в голосе хозяйки, это придало смелости, она быстро отчеканила концепцию проекта. Директор задумчиво смотрела куда-то мимо нее, не прерывая, и закурила снова. Муся добралась до главного: стала описывать тотальную инсталляцию. Она включила трейлер видео, где машина, груженная зерном, едет по дороге, вымощенной младенцами...

– Стоп, – раздраженно сказала директор, – достаточно. Вы в своем уме? О чем вы вообще думаете? Иногда, знаете, надо и мозгами шевелить! Кто позволит теперь это выставлять? Вы знаете, чтобы показать самый сраный проект в нашем музее, сколько надо пройти согласований в министерстве? Вы вот искусством заняты, а здесь люди, думаете ни хера не понимают? Нет, они вкальвают с утра до ночи, это вы вечно в облаках витаете. Уберите подальше свое говно и не показываете больше никому. Деточка, я вас не за этим пригласила, – директор снова перешла на дружеский тон – я беру вас в музей художником-оформителем. Можете на следующей неделе приступать к обязанностям. Но только забудьте ваши идеи. Учтите, настоящего художника из вас все равно не получится, вы не в тренде, понятно? Знаете слово «не формат»? Это все теперь уже не то, что вы думаете. Какие, нахер, крестьяне? Ну сделали бы хотя бы что-

то с левым дискурсом, или на гендерную тему, институциональную критику, в конце концов, я бы подумала. Ну кто так работает в Европе? Посмотрите вы вокруг, вы же видели, что у меня висит? Вот что сейчас нужно людям! И на это они будут ходить, и в очереди стоять, это будут покупать, между прочим, да-да, не жмите вы плечами. Ваши идеи, духовка эта —обосраться, как старомодно, прошлый век, выбросьте все из головы, вот вам мой совет.

Заметив, что Муся собирается уходить, – директриса заговорила доверительно:

– Знаете, я вот тоже раньше хотела стать художником, посмотрите – она залезла куда-то в ящик и швырнула на стол перед Мусей несколько разноцветных дамских сумок на длинной ручке, сваленных из войлока. На них были вышиты золотом какие-то буквы.

Так сейчас надо работать! Я придумала дизайн сумок, наняла команду, мне сделали эскизы, я проконсультировалась с модельерами, выбрали материал, заказали, мне их сшили, я нашла тексты, пригласила шрифтового дизайнера, он разработал новые шрифты, заплатили вышивальщицам, они вышили буквы... Вот что такое искусство!

Муся вышла из музея, попрощавшись с охранником, который, кажется, грустно подмигнул ей. Она даже не расстроилась, ну если только совсем чуть-чуть. Жаль только маму с Ликой, они так верили в ее успех, наверное, уже и шампанское купили. Курица стоит в духовке. Ждут. Надо им позвонить. Муся присела на скамейку в тени музея и закурила, глядя в небо. Одинокая рябинка рядом с ней качала созревшими гроздьями. Так, сейчас она соберется с силами и позвонит Лике, а затем поедет к себе в мастерскую и, как обычно, продолжит работать.

Муся, вспомнив слова директрисы о том, что она вечно витает в облаках, действительно принялась наблюдать за розоватыми перистыми облаками, которые медленно плыли над музеем, над деревьями, проводами, рекламными растяжками, крышами и над новыми сияющими куполами. Неожиданно, как когда-то давно, она почувствовала, что является соучастником той самой работы, что происходила на земле всегда. Муся провожала взглядом облака. Облака уходили в вечность.

## ОБЛАКА

Репортер смотрела в небо. Воздух уже не колыхался, соловьи умолкли и даже собаки стеснялись лаем нарушить покой. Солнце осторожно карабкалось вниз. Замерцали мягкие и таинственные сумерки. Длинная череда исстрадавшихся облаков встала строем над лесом – это людская колонна маршировала за горизонт, туда, где нет налогов, голода и начальства. Вон Дубитель плетется и баба его сзади, вон маячит русая башка Палы Волкова с вещмешком за спиной, бабушка с дедушкой зеленой веткой помахивают, над верхушкой березы Петька Питерский – ему дадут 10 лет (не без Лёнькиного содействия) за колхозные колоски, которыми тот хотел накормить Маню с младенцем. А следом – не сам ли Лёнька Скобарь, в конце 30-х сгинувший в СевЛаге? А вон его пятилетняя Валя, погибшая в 41м, попав с детским домом под обстрел на Смоленщине, и старший сын Коля, что пьяный рухнул с лесов на стройке в Усть Илеме, сбежав из нищего колхоза. Потом она вспомнила, как делает репортажи про развал этих колхозов в 90-х: брошенные поля, разворованные фермы, пьяных доярок, коров, мычащих от голода и падеж скота, а также, собак, что бегают по деревне с телячьими ногами в зубах. Внезапно репортер разглядела и своего знакомого, который застрелился, сбежав прямо из под капельницы районного наркологического отделения; деревенского соседа Витю, его пьяный друг долго тянул на «Вихре» пустые водные лыжи, не замечая, что тот давно утонул; Надюшу с внешностью топ-модели, которую муж долго бил ногами, опившись этилового спирта – ее тело нашли в избе под лавкой; увидела Юрку, на мотоцикле въехавшего в реку по пьяни, и не выехавшего обратно на глазах жены, троих детей и всей деревни; Таню, что, полюбив

алкоголика, сама, в конце концов, запила так, что замерзла однажды под забором в сугробе. – «Я и не думал, что смерть унесла столь многих».

Тут репортер очнулась и посмотрела на часы. С Ленькой Скобарем они уже свернули на дорогу с большой лужей посередине, что не высохла даже летом, и подошли к избе Дубителя. Репортер стала доставать аппаратуру и стала готовиться к съемке, а Лёнька засуетился рядом, пытаясь руководить процессом: «Вот как надо сымать! С этого места вся деревня как на картинке. На говно-то зачем наводишь? Дубителей дом сымай – он самый приглядный». Репортер делала свое дело молча, стараясь не обращать на Лёньку внимания. Установив треногу и настроив камеру, она стала ждать. Вскоре послышался шум машины. Репортер проверила на резкость, включила киносъемочный аппарат, и через некоторое время из-за угла вывернул пыльный грузовик с красным транспарантом «Даешь хлеб Родине! Колхоз «Активист». Машина была заляпана грязью, за пыльным лобовым стеклом едва можно было разглядеть водителя, так что было совершенно непонятно, как он видит дорогу. Автомобиль, груженный до верха мешками с зерном, отобранном у крестьян, проехал мимо них по луже. Водитель чуть притормозил, но похоже шутки ради, обрызгал грязью Лёньку. Запахло бензином и перегаром. В кузове стояли Петька Питерский с уполномоченным из райземотдела, их лица были красными, как знамя, они старались не шататься и кричали нарочито бодро, «для истории», показывая вдаль и махая руками репортеру. «Да здрав... колхозы! Слава Лен... рищу Сталину! ... коллекти... ура-а-а!» – разнеслось по деревне. Эхом вторили собаки. Автомобиль выехал из лужи, газанул и, обдав пылью, скрылся за поворотом. Репортер выключила камеру. Лёнька, матерясь, стал вытирать о траву заляпанные грязью сапоги.

### МУСЯ ЗАКРЫЛА ГЛАЗА

Проекция на экране должна быть похожа на архивные хроники: вдоль дороги крестьянские избы – небедные, высокие дома, крытые дранкой; почти все они с большими воротами и калитками поменьше, все двери распахнуты, лишь в одном из домов почему-то нетронуты, окна заколочены, а то и выбиты, плетни кое-где сломаны, жердины вывернуты, доски вразнобой приставлены к стенам домов, несколько колеб веляются на дороге, а вдали торчат купола без крестов. Очень грязная, пробитая колеёй, дорога, посередине которой – огромная лужа, классически не высохающая даже летом, и там, в этой грязи что-то шевелится. Камера наезжает как раз на эту лужу, и становится заметно, что дорога в этом месте все же вымощена. Когда трансфокатор еще раз приближает картинку, на крупном плане можно разглядеть, что дорога выложена младенцами. Они лежат в грязи, только лица и пухлые животы виднеются на поверхности, но даже в немом кино понятно, что кто-то мычит, кто-то гулит, а кто-то плачет, протягивая зрителю ручки из своих страшных, голодных времен. Через некоторое время вдали появляется пятно, которое постепенно увеличивается и принимает очертания – вскоре в нем можно различить силуэт грузовика. Он выворачивает из-за угла, направляя свой прямоугольный капот, с заляпанными грязью фарами и мутным лобовым стеклом, за которым невозможно разглядеть водителя, прямо на младенцев. Однако, младенцы знают, что делать. Закрыв глаза и рты, все они, словно по команде какой-то неведомой мамки, опускаются на дно. В мутной воде можно разглядеть, как ровнехонько эти маленькие тела легли на дно лужи, выставляя вверх раздутые от голода животы, уместив дорогу так гладко, что никто не выделяется, и груз машины не причиняет им никакого вреда. Пыльный грузовик украшен транспарантом «Даешь хлеб Родине! Колхоз «Активист». На мешках с зерном, которые доверху наполняют деревянный кузов машины, стоят двое молодых мужчин. Неимоверно широкие галифе на одном из них, как паруса, надуваются ветром. Парни что-то кричат, указывая вдаль, и радостно машут руками невидимому хроникеру.

Машина с хлебом исчезнет из кадра, младенцы, лежащие на дороге, станут выныривать из воды, жадно хватая воздух, и тут на одного из них, что был положен с самого краю, с непропорционально высоким лбом и длинными, слипшимися волосами; с огромным животом, облепленным грязью до такой степени, что непонятно, мальчиком является младенец или девочкой; который, начнет смеяться уже беззубым ртом, обнажая припухшие десны, и даже нечто вроде ямочки станет заметно на впалой щеке, накатит волна от грузовика и младенец, закашлявшись, навсегда скроется на дне лужи, и лишь несколько пузырей появится в месте, где мутная поверхность воды унялась.

*«Я и не думал, что смерть унесла столь многих» – цитата из «Божественной комедии» (Ад, III: 55—57) Данте Алигьери*

## МАТЬ ГЕРОЯ

Мать Юрия Гаранина была злобной и сварливой старухой. Она ненавидела решительно всех, но особенно молодых незамужних девушек за их гладкую кожу, упругие бедра, за тридцать два ровных белых зуба, которые не надо класть на ночь в стакан с водой и за то, что они будут жить при коммунизме.

А так как она была матерью первого на свете героя, ее поселили в бывшем санатории, что еще раньше был барской усадьбой. Огромный дом этот окружал здоровенный парк, обнесенный высоким забором с колючей проволокой. Охраняло объект спецподразделение, состоявшее, согласно инструкции, из девушек-милиционеров.

И в хозблоке, как на беду, работали в основном, девушки.

Вот, например, как положено, в восемь утра заходит к старухе, какая-нибудь Ира с Красной Зари или Настя из Лохова:

– Доброе утро, Анна Пантелеевна, как спалось?

Та сидит на кровати в ночной рубахе и обломком гребня, который в своем полном виде, еще драл ее черные кудри, прилизывает жидкие, седые волосы.

– Что поздно пришла? Опять поди ночь с кобелями шлялась? Не нагуляться все, мой-то сын не таким был. Плохо спала. Поясница полночи болела, да нога вот, что пониже косточки. Дуй к фелшарице, пусть даст другую мазь, эта не подсобила, за что вам только деньги такие платят, да мухой, не трепи языком-то по углам.

Пока Настя или Ира со всех ног бежит в медпункт в другом корпусе, старуха ждет и думает:

– Сколько прошло, а их все нету, нарочно так долго, заразы, как пить дать, сговорились, никому верить теперь нельзя, можа и фельшарица что подмешивает, надо собраться в Москву написать, такой разве уход должен быть за мною, за матерью героя, да кого верного найти, чтоб помог, ненавидют меня тут, сволочи, а сыну с невесткой все некогда, кому мы теперь нужны, старики.

К моменту прихода фельдшерицы, старуха сидит капризная, злая и все бормочет, уставившись на свои костлявые, перекрученные от тяжелой колхозной работы руки, что кругом одни вредители. Чай сразу становится не сладким, стакан грязным, а халат колючим.

Карманы старухи Гараниной халата, вечно замусоленного, всю дорогу были набиты семечками пополам с шелухой, из-за чего невозможно было найти в них, ни носового платка, такого же грязного, ни обрывков газет, на случай нужды, – вообще ничего. Рыться в своих карманах старуха не позволяла никому, боясь вредительства, по этой же причине и одежду в стирку сдавала неохотно. Как только ей казалось, что-то пропало из карманов, или же она, как обычно, теряла очки, то поднимала шум.

– Какая pizdogvanka убрала опять мой очки! – орала она на все гулкое пространство санатория и глаза ее и без того сильно увеличенные диоптриями, становились страшно огромными.

– Так они же на вас, Анна Пантелеевна – говорила та девушка, что побойчее. А та, что по тише ничего не говорила, лишь прикрывалась рукой от гулявшей по воздуху старухиной палки.

«А куда деваться, – шептались между собой девушки, мы люди маленькие – и почему-то появлялись слова и интонации, слышанные в родительских разговорах – а то уволят, пойдешь и правда, на ферму коровам хвосты крутить. Вон Иваниху в Лохово бригадир обрюхатил, а толку, что она жалобы писала. Начальство друг друга не обидит».

Впрочем, были и храбрые девушки. Вот Верка-милиционерша. Слышали все не раз, как она говорила, особенно, если старуха ее отдубасит:

– Эх жалко мамка с батькой меня поздно родили, а то бы и я героем стала. А че, не зассала б, я ваще смелая, мне и военрук в школе так говорил, все звал в разведку, кобель старый. Стала бы я героем, мне бы дали орден, мои бы фотки здесь висели, и я б тогда эту бабку...

На самом главном входе в санаторий висела большая фотография с голубем. То есть портреты героя были везде, но такой, с белой птицей в руках, висел только здесь, у парадной лестницы. Засмотрится, бывало, на героя та же Настя, и куда-то, вверх, подальше от деревенской, исхоженный вдоль-поперек улицы, от криков пьяного батьки, от алюминиевых кастрюль хозблока, летит, как эта белая птица, душа.

А тут и старуха стучит своей палкой по лестнице:

– Чяво, дылда, раззявилась, жарь быстро на ферму, молока принеси, да смотри, чтоб кислого не налили, что за народ пошел, то ль дело мы вкальвали, попробовал бы кто так стоять аль опоздать, хоть на минуту, сразу б посадили, вот и порядок был, не то, что шас., мы и пикнуть не смели.

Кроме больших парадных портретов у каждой девушки была своя коллекция фоток героя, из журналов «Огонек» и «Крестьянка». Как по всей стране собирали портреты известных киноактеров, так здесь, почти в каждом доме – на полке между романом «Мать» и бабушкиной иконой; на окошке рядом с цветком декабрист, в коробке из-под конфет, что привозила тетя Маня из Ленинграда, лежало свое сокровище. Даже у дяди Леши Барыги, хоть в доме и выбиты окна, а говорят, висела обложка «Советского фото». Признанным лидером здесь была та же Верка: в ее собрание входили не только обычные, канонические портреты, но и снимки героя в Гаграх, фотографии с женой Валентиной, с Фиделем Кастро и с рыбой.

Единственной отрадой для всех обитателей санатория были дни, когда старуху увозили на мероприятие, в пионерлагерь, например, или на комбинат участвовать в собрании.

С утра в такие дни к санаторским воротам подъезжал ГАЗик, на нем привозили парикмахершу Антонину из райцентра. Хоть она была в годах, а все равно старуха орала, когда та стригла ее, закручивала волосы и начесом прикрывала плешь. Парикмахерша угодливо подхихкивала, да все пыталась войти в доверие, ругая молодежь. Она то, может, и была единственным человеком, с кем старуха считала не зазорным разговаривать, например, о том, чем лучше натирать поясницу и ногу, что пониже косточки, нутряным салом или керосином; опять же, Антонина привозила свежие новости из района, не такие, как в районной газете, а поинтересней, – например, почему пошел на повышение товарищ Заливайко или про новую шубу жены первого секретаря. Когда парикмахерша уходила, девушки несли вслед за ней в ГАЗик тяжелые сумки из санаторской столовой. Позже приезжала райкомовская «Волга» и старуху, подстриженную и завитую, в строгом сером костюме, с орденом на груди, сажали на заднее сиденье. На переднем, обычно, сидел инструктор райкома или другая номенклатурная единица, в зависимости от важности поездки.

Машина уезжала, и счастливы были те, на чью смену приходилось это событие. Слезы высыхали, лишь затихнет мотор «Волги». Раскрывались окна, девушки сбегались в актовй зал и заводили пластинки. И только зазвучит эхом далекого нездешнего счастья песня «Королева красоты» (муз. Бабаджаняна, сл. Гороховца), так и закружится пара резвых ножек по актовой зале, а там и другая, третья. Несут они их хозяек, не касаясь паркета и танцуют, летят вместе с ними пыльные шторы на окнах, ряды кресел, стол с бахромой на красной плюшевой скатерти, китайская роза в кадке, а надпись «СЛАВА КПСС» вообще превращается в сплошную красную линию. Насте, Ире, Жене – всем казалось, что танцуют они с героем, старухиным сыном, что улыбался со стен или по крайней мере, с известным певцом Муслимом Магомаевым. Вот уже не старухину брань, а смех и пенье слышат расползающиеся во все стороны аллеи парка в немом изумлении, да члены политбюро таращат глаза со своих портретов...

Однажды летним днем старуха Гаранина дремала на скамейке в парке. Никто никогда не посмел бы нарушить ее хилый старческий сон. Но вот одна девушка-милиционер, будучи не при исполнении, разыгралась и своим окриком случайно разбудила старуху. Этой девушкой была Верка Тихомирова.

– Всех вас, huerpletki, пересажаю, кровью, bluadugi, засыте!!! – орала спросонья старуха, брызгала слюной, – тряслось вся ее худая, прибитая к земле фигурка, а палка, казалось, вот-вот расколется в щепки от безумного стука.

Вера от неожиданности остолбенела на секунду, потом повернулась, как по команде «кругом» и побежала куда-то. Она совсем потеряла голову от страха. Бросилась зачем-то в отделение, схватила табельное оружие, гранату и... со всех ног рванула прочь.

Она долго бегала по густому, огромному этому парку, то пряталась под коряги, то под сваленные деревья, то пыталась залезть на кроны. Мысли запутались, как сухая осока, под ногами. Она бежала, спотыкалась о корни деревьев, выходящие наружу, перекрученные так, что казалось, это старухины руки с набухшими венами хватают ее. Потом стали доходить крики – ее начали искать. От этого она еще больше перепугалась.

Сначала на ее поиски вышли девушки-соратницы и девушки-из-хозблока: горничные, прачки, посудомойки. Они ходили по парку, тревожно заглядывали вниз под коряги, сваленные деревья, смотрели вверх на кроны. Все они очень боялись, но долго, прилежно и терпеливо ходили по парку, по темным аллеям его, а также, по траве высокой, что резала ноги и кричали: «Вера! Веееера! Веерааааа!!!» Вера пропала.

Стало вечереть. Командир спецподразделения сначала не хотел давать огласки этому происшествию, но солнце заходило, а вооруженную девушку так и не нашли. Да и старуха, которую сам командир тоже побаивался (хотя он, бывший фронтовик, как известно, ничего не боялся) опять дурила, требовала, чтоб скорее написали письмо в ЦК, что она, наконец, раскрыла заговор, здесь кругом враги и на нее, мать героя, готовится покушение.

Пришлось звонить в вышестоящую инстанцию и оттуда дали приказ районной милиции. Для выполнения особо важного задания приехало целое отделение милиционеров. Все РОВД в полном составе. На двух машинах. С собакой. И еще трое в штатском. Они оцепили все выходы, ходили четко и организованно, строго по инструкции, в линию, на расстоянии не более 3х метров друг от друга и прочесывали парк. Один из них кричал в громкоговоритель: «Гражданка Тихомирова немедленно выходите из укрытия и сдайте оружие иначе к вам будут приняты меры ликвидации, гражданка Тихомирова, немедлен...»

Вере казалось, что земля горит под ногами. Она бегала по парку, срывая погоны, скрываясь от погони, подбегала к неприступному забору с колючей проволокой и понимала, что его не преодолеть; с обезумевшим лицом бежала к пруду и, забежав по пояс в зеленую, зацветшую эту воду, выбегала из воды; искала укрытия под крыльцом старой беседки, но и оно казалось ненадежным. Старый парк не спасал ее.

Она бегала взад и вперед, слева направо и справа налево, вдоль и поперек, и по диагонали – крики преследователей усиливали ее страх. Наконец, она забежала в самый глухой, самый темный уголок парка и перевела дух. Только Вера вздохнула свободно, как опять услышала приближающийся топот.

Девушка дернула чеку от гранаты и взорвала самоё себя.

## ПАРТИЙНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

*«И быстрой ножской ножку бьет»*

*А. С. Пушкин*

Черная «Волга» затормозила рядом, опустилось стекло переднего сидения, показалась пухлая белая рука, обрамленная ослепительной манжетой с янтарной запонкой в виде серпа и молота, и стряхнула пепел сигареты. Вылетела струйка дыма. Окно закрылось. Пахнуло дорогим табаком, и дымок продолжал висеть в воздухе, колыхаясь у автобусной остановки, даже когда машина тронулась.

Через несколько минут подошел тридцать восьмой.

Когда я вышла из этого автобуса, начался дождь и поднялся ветер. Я шла домой, выставя вперед свой, недавно купленный в райпо, японский зонтик, стальную ручку которого держала двумя руками, и на левой болталась сумка с продуктами, которая при быстрой ходьбе раскачивалась, норовя побольнее засандалить в живот острым углом молочного пакета. Я повернула на свою улицу. Рядом с домом стоял МАЗ.

– Привет! – закричал из-под машины Колян, – опять коробка, сука барахлит, а трояк я тебе с полочки верну, не волнуйся.

– Да, ладно – отмахнулась я. Когда подошла к калитке, внезапно выглянуло солнце. Розовые георгины с каплями на лепестках; скамейка, надраенная ливнем до блеска; подновленный дождем почтовый ящик с облупившийся краской, вызвали во мне приливы радости, а достав оттуда «Литературку», мне показалось, что я совершенно счастлива. Чего еще желать? Есть крыша над головой – свой дом и даже сад; хлеб – зарплата в библиотеке небольшая, но стабильная; есть друзья, а в маленьком городе не так легко найти близких по духу людей и, что вообще редкость, хорошие соседи. Есть даже транспорт, старый отцовский «Запорожец», который, как ни странно, все еще на ходу. Движок, как сказал Колян, очень даже ничего.

И городок наш – Киселянск, я люблю. Он правда, очень красивый, стоит на берегах Киселянки, правого притока Волги. Свою историю город начинает в 18-м веке, когда Петр Первый хотел устроить здесь военную базу для потешного полка. Несовершенство тогдашней логистики не позволило это осуществить, так как обозы с провизией доставлять было хлопотно. Проект этот, как сказали б сейчас, был заморожен, однако движуха кой-какая по берегам реки началась, и сегодня Киселянск – райцентр с населением 10 тысяч. Конечно, у нас не кисельные берега, но нрав у киселянцев терпеливый и мирный, на жизнь, как бы тяжела она ни была, не жалуются, думаю, из-за страха, что остался в крови со времен основания города.

Размышляя об этом, я вставила ключ в замочную скважину. В прихожей разрывался телефон, кажется, звонил он долго, так как съехал на край полки. Я аккуратно поправила его и взяла трубку.

– Але – зазвучал женский голос, – это приемная первого секретаря райкома партии. Сейчас к вам приедет наш сотрудник, ожидайте – и, не заботясь о моём ответе, на том конце повесили трубку.

По стеклам снова застучал дождь. «Что надо этой партийной сволочи? Наверное, будут агитировать по выборам, ведь я им статистику порчу. Ладно, – посмеялась я про себя, – сейчас поговорим».

Убрав на всякий случай подальше три номера «Континента», что стояли на книжной полке, я поставила чайник и включила телевизор. Начинаясь трансляция балета «Лебединое озеро». Гобой выводил печальную мелодию, по сцене плыли нежные девушки-лебеди, музыка становилась драматичнее и как только грозно запели тромбоны, в дверь постучали.

– Можно? – робко заглянула толстая тетка с сильно накрашенными щеками, по которым стекала тушь. Завитые волосы покрывала мокрая косынка из болоньи.

– Пожалуйста – не скрывая недоумения, я уставилась на румяную бабу. Не то, чтобы я ожидала увидеть самого Первого, Второго или Третьего секретаря Райкома, даже не инструктора по агитации, ну хоть какого-то мелкого аппаратчика, самую мизерную номенклатурную единицу, и это обязательно должен быть мужчина в сером костюме или в полоску – тогда я бы с ним поспорила. (В телевизоре веселился принц с друзьями.) А эта тётка... Она, тем временем, переместила с порога свою большую коричневую сумку, повесила плащ и, несмотря на сырость, от ее тела повеяло потом.

– Антонина Григорьевна Семенова – представилась она, – парикмахер райкома партии, можно просто Антонина.

– У партии своя парикмахерская? – съязвила я, – может и прачечная?

Антонина, не поняв моей иронии, ответила, что стирают они в городской, и тут же стала жаловаться на транспорт. Так как все водители оказались в командировках, ей пришлось ехать «на себе» и тридцать восьмого она ждала полчаса под дождем (уж мне ли рассказывать, что это такое). Я прониклась сочувствием к этой райкомовской бабе, к тому же она просто парикмахер.

– Я всех партийных обслуживаю, самого Первого брою и Второго и Третьего, конечно. Женам ихним тоже делаю прически, никто не обижается, рука, говорят, у тебя Тоня, легкая, и вы довольны будете.

– В каком смысле? – не поняла я.

– Вам положены по разнарядке косметические процедуры, стрижку, укладочку, макияж. Не хуже комсорга Голубевой, уж вы мне поверьте, будете на приёме.

– Вы меня с кем-то спутали! – я не скрывала раздражения.

– Ой-ой, – засуетилась Антонина, полезла в карманы плаща и достала мокрую бумажку. Она развернула её, подрагивающими пальцами и прочла: «Товарищ Феоктистова? Водная 16?»

– Да.

– Ох ты, боженьки, – успокоилась Антонина, – в отделе агитации и пропаганды вечно так, плохо они работают, лишь бы галочку в отчет поставить, а сами и решение не доведут. Они должны были заранее уведомить вас о приглашении, – парикмахерша многозначительно подняла толстый указательный палец, – к Первому! К самому! На банкет! Концерт еще будет, артисты из филармонии, а я вам причесочку, макияж...

– Что?! – я задохнулась от возмущения – На партийный банкет? Они что спятили?

– Что вы, что вы, не переживайте так, – опять заволновалась Антонина, – насильно не потащат. Не те времена, как говорится, чтоб под конвоем водили. Но с услугами-то как быть? Я ж человек маленький, приказано – выполняю. Не откажите уж вы пожалуйста, уважьте, а то неприятности у меня будут.

– А мне какое дело? Я вас не вызывала.

Антонина села на краешек стула, достала мятый носовой платок, громко высморкалась и стала вытирать глаза.

– Я тут на прошлой неделе вышла на работу апосля юбилея одного нашего товарища, – сказала она доверительно, – брила секретаря промышленности, рука дрогнула и по ихней-то щечке, бритвой. Ах, как нехорошо вышло, меня заведующий хоз. сектором товарищ Заливайко вызвал и так распекал, сказал: «Смотри, Тоня, в следующий раз тебя не пожалею, выговор влеплю, а там и уволю!» Что ж делать, а? У меня дочка в восьмом классе – она умоляюще стала заглядывать мне в глаза.

– Ну ладно, давайте. Я все равно хотела на следующей неделе в парикмахерскую. А на банкет точно не пойду, я уже на день рождения собралась, к племяннице, – зачем-то соврала я.

– Я быстрехонько, щас в лучшем виде, давайте массажик лица сделаю сперва, садитесь в кресло, ох, где тут горячая водичка? – затараторила парикмахерша, застегивая белый халат.

Пальцы Антонины, скользившие по моему лицу, оказались неожиданно проворными и сильными. Правда, легкая рука. Я даже задремала. Сквозь сон я слышала отдельные слова Антонины «повышение товарища Заливайко», «дефицит моющих средств», «поощрения передовиков производства» и «дом высокой культуры быта». Мне было приятно, что я сплю и не надо реагировать на её глупые рассказы. Началось адажио. Переливались струны арф, казалось, озеро журчало под моими ногами, я открыла глаза – на сцене влюбленные Зигфрид с Одетой тянули друг к другу руки.

– А я балет не люблю, вот фигурное катание это да, щас вам масочку сделаю, – Антонина, продолжая болтать, намазала мне лицо какой-то серой массой. – Посидите 15 минут, и я отдохну – она плюхнулась в кресло и начала тереть правую ногу с сильно вздувшимися венами.

– За день находишься, вечером гудят, варикоз, профессиональная болезнь. А перед пленумом или ближе к Октябрьской, божечки, валом клиенты, ноги просто отваливаются. Я тут пожаловалась весной Первому, да не с корыстью, а так, слово за слово, когда брила его. Уж очень он любит с простым народом пообщаться: «Не могу я, – говорит, Тоня (они даже имя мое запомнили), не могу я это холуйство терпеть. Все замы так и норовят жопу лизнуть, как хорошо с простым человеком потрепаться, чтоб без подхалимажа, без пи... ну он такое словечко нецензурное сказал, – вспыхнули щеки Антонины. Да, такой он наш, товарищ Первый! Вот и путевку в санаторий мне приказал выдать, в партийный, для аппаратчиков, Мосинский. Только не верьте, что там какое-то спецобслуживание, как говорят, всё как у простых людей, ну правда никто не нахамит, обслуга поприветливей, профорг там один был с фабрики «1 Мая», такой обходительный...»

Мой «Рекорд» забарахлил, по экрану пошла рябь, и картинка пропала.

– Надо частоту кадров подкрутить – сказала я.

– А я со своим так делаю, – она подошла к телевизору и грохнула по нему кулаком.

Изображение наладилось. Началось третье действие – бал во дворце, где принц выбирает невесту. Неожиданно промелькнула мысль: нормальный, он мужик, этот Первый, скорее всего такой же заложник системы, как и все мы. А что, ведь и правда интересно посмотреть на него в неформальной обстановке.

Антонина начала стрижку.

– Я слышала товарищ Заливайко достал севрюгу в областном распределителе – скороговоркой шепнула она.

Я проигнорировала, и наступила пауза, только ножницы над моей макушкой звякали в проворных руках Антонины. На сцене появился злой гений.

– Вот только, не сердитесь, что я вам скажу, – неожиданно осмелела парикмахерша, похоже успех с телевизором ободрил ее, – домик-то ваш староват, ремонт нужно дать. Смотрите, – она сунула в карман халата ножницы и, достав оттуда карандаш, положила его на письменный стол. Карандаш покотился к стенке, – видите, фундамент оседает, – я знаю, сама в таком жила, из Верхнего Лохова я родом. Папка всю жизнь на тракторе, в мазуте вечно. «Учись, – говорил, Тонька, – чтоб работа чистая была». Не дожил, утоп пьяный на Взятие Бастилии, когда я в шестой класс закончила. Так вот, если б вы пошли на прием, ввернули бы Первому, в разговоре, между делом, ремонт, мол, нужен, социальные пособия, ведь вы работник культуры.

Я хотела возразить, но маска сковала лицо, и даже головой, в крепких руках Антонины, помотать не могла.

– Не крутитесь, – строго сказала парикмахерша, – ухо поцарапаю. Не думайте только, будто вы что-то сверх нормы просите, я такого насмотрелась на работе, есть люди в любую зад-

ницу влезут без мыла, зато и живут получше нашего, а кому-то и положены льготы, не по благу, а по закону, а они молчат. Разве это справедливо, скажите?

Я посмотрела на стены дома. Конечно, фундамент просел, я и сама знаю, крышу давно пора чинить, стропила менять. Отгоняя эти мысли, я упрямо уставилась в телевизор. Принц, под чарами злого гения увлекся другой, приняв ее за царевну-лебедя, и клялся ей в верности, Антонина же продолжала наставлять меня:

– Вы же уважаемый в городе человек, дизидент, как говорится, все ценят вашу принципиальность. Видите, даже Первый вас приглашает, вот и потребуйте свое, что вам положено.

Заметив мое молчание, она вздохнула и перевела тему разговора:

– У вас там «Москвич» в гараже? Уж не четыреста двенадцатый ли?

– «Запорожец».

– Ахаха! – засмеялась, вконец обнаглевшая, Антонина. – «Запорожец!» Эх вы, интеллигенция, за чужие права боретесь, а за свои...

Ее речь прервал телефонный звонок.

– Не вставляйте, пожалуйста, я подойду, – сказала парикмахерша и быстро подбежала к телефону.

– Да. Я это, Сергей Иванович, Тоня, я тут! – она усердно кивала головой, отчего ее крупные серьги тряслись, как бешеные. – Слушаю. Все нормально, работаю, да будет сделано, хорошо, конечно, да-да, извинюсь, не волнуйтесь.

– Сам Заливайко звонил, – важно сказала она, положив трубку и повернувшись ко мне, – приёма не будет, форс мажор, как говорится, вам просили передать извинения. Жена товарища Первого купила норковую шубу, и он отменил на сегодня все встречи.

– Так просто отменил? – возмутилась я, – как это? Что и банкета не будет?

– Не так просто, а по семейным обстоятельствам, поправила Антонина, – такое событие! Что он не человек? Имеет право на личную жизнь. Вы же все равно не хотели идти, – съязвила она, – ушки приоткроем?

Из телевизора раздавались громкие, полные страсти звуки оркестра, принц, понявший, что стал жертвой обмана бежал к озеру, чтобы найти им преданную возлюбленную.

– Ну что вы загрузили? Будете самой красивой на дне рождения. Челку направо?

– Налево.

– Ну вот, теперь вы, как дикторша из телевизора. Довольны? Вот и прекрасно. Распишитесь. И время поставьте, пожалуйста, для сверхурочных, – пояснила Антонина, укладывая инструменты в сумку. – До свидания, я побежала.

– До свиданья, спасибо – растерянно ответила я, закрывая дверь за ней.

Потрогав руками волосы, я покрутилась перед зеркалом. Прическа, действительно, мне очень шла, возможно, это была лучшая стрижка в жизни. Я подкрасила губы, еще раз полюбовалась на себя и уселась на стул. Открыла свежую «Литературку» – все одно и то же. Взглянула на часы – без пятнадцати девять. Идти никуда не хотелось. Да и куда, вообще-то? Снова петь под гитару на кухне? Читать вслух Вознесенского? Я машинально взяла карандаш и, покрутив его в руках, положила на поверхность стола. Карандаш покотился к стенке. Вздохнув, я вышла во двор. Дождь закончился. Уже стемнело и первые звездочки светились меж лохмотьями туч. Прошлась вдоль дома. В гараже поблескивали стекла «Запорожца», и в ушах зазвенел смех Антонины.

Посмотрев на свой дом, я первый раз в жизни заметила, какой он маленький и старый. За калиткой пьяный Колян говорил кому-то:

– Да подожди ты. Дай проссусь. Щас, щас, еще немного.

Было слышно, как струя мочи врезается в песок.

«Он у моего забора», – возмутилась я про себя, и не сдерживая раздражения, заорала:

– Хватит этого безобразия, на свой забор иди срать!

– Ссссоседка, датыче? – забормотал удивленно Колян, видно пытаюсь застегнуть ширинку.

Я со злостью развернулась и пошла к дому. За рекой лаяли собаки. Подул холодный ветер, и старая яблоня зашелестела над головой, сбрасывая листья. Я запахнула куртку. В окне дома сиял голубой экран телевизора и доносились звуки «умирающего лебедя».

## НАШ ЯША

Метель, кружившая весь день, унялась, и в розоватом небе столицы показался серпик луны. Мороз крепчал. Толпа из Ударника, где закончился киносеанс, потекла, преодолевая снежные завалы на Большой Каменный мост, а небольшой ручеек отделился на Малый. «Безобразии» – то и дело раздавалось в людской гуще. Дворники не успевали убирать снег, хоть махали лопатами дружно и ловко. Первоостепенное дело было расчистить набережную для жильцов главного Дома, что скоро выйдут на променады, вдохнуть свежего морозцу по советам кремлевских докторов.

Мазурик весело шагал по снегу, то и дело ухая в сугробы. Лёвка Мозг приехал на несколько дней, вот старые друзья и засиделись в номере Метрополя, глотая коньяк из фляжки. Некоторые эпизоды своей жизни Матвей Ильич не имел права разглашать – только с ним, с Мозгом, лицом посвященным, он и мог о них поговорить. Громче включили радиоприемник СВД, которому Лёвка радовался, как ребенок, у них в Мурманске этого пока что не было.

– Ничего, Лёвка, скоро в каждой советской семье будет такой аппарат, да не только со звуком, кино будет показывать, эх что за жизнь будет лет хоть через пять? В сорок третьем, например, страшно представить.

В основном разговор крутился вокруг недавней экспедиции к Земле Александра I на Южном полюсе, что была открыта российскими мореплавателями Лазаревым и Беллинсгаузеном в прошлом веке. Матвею Мазурику правительство поручило архи-ответственную задачу, выяснить, чем является эта земля, островом или все же материком. Разумеется, данные об этой разведке были под грифом «совершенно секретно». Никто в мире не должен знать о планах советского правительства присоединить к СССР еще одну республику – антарктическую. Поэтому, прославленный полярный летчик Мазурик, вошел в состав американской антарктической экспедиции инкогнито, под именем Каньон. А Лёвка Мозг, Лев Николаевич Мозговой, был его связным.

Выйдя из гостиницы, Матвей Ильич решил прогуляться пешком по вечерней Москве, чтобы перебить коньячный запах, к тому же водителя он давно отпустил. На мосту его перегнала стайка девушек-студенток из промышленного техникума, как он понял по разговору. Их фигуры сковывали шубы и валенки, лишь одна была в коротеньких ботах на полных ногах. Девушка эта, пытаясь обойти сугробы, как назло, в них вязла под смех подружек, и Мазурик поддал руку, предлагая ей помощь в спасении из снежного плена. Девушка доверчиво улыбнулась. «Толковая выйдет работница и мать производительная», – хмыкнул про себя Матвей Ильич, машинально подкрутив густой еще, рыжий ус, лишь та отпустила свою хваткую руку, сжимавшую его толстый указательный палец в кожаной перчатке.

– Клавдия такой же была, – подумал он о супруге, лишь девчата скрылись из виду, вспоминая, как встретил хрупкую красавицу на курсах партшколы. – А теперь такую жопу отратила и шагу не сделает без машины, – проворчал про себя беззлобно, что было правдой лишь отчасти, и он это знал, потому что супруга Мазурика, Клавдия Генриховна, хоть и пополнела, но красоты не потеряла, наоборот, приобрела осанку – сразу видно жена красного полковника.

Матвей Ильич потянул тяжелую ручку двери подъезда и та, скрипнув, впустила жильца, что внес с собою радость от жизни, вместе с морозными клубами пара. Вертялый лифтер дернулся было, словно хотел отдать честь, потянувшись к козырьку синего форменного картуза, но вовремя одумался:

– Разъясняет, Матвей Ильич, гляди и под 20 бабахнет.

Мазурик, громко сбивая снег с унтов и отряхивая шубу, ответил с воодушевлением:

– Пушкинская погодка! Завтра жди мороз и солнце!

– Эх, не довелось Александру Сергеичу пожить при социализме, вот бы понаписал, сгубили, туды их в качель, враги народа, – сокрушался лифтер, нажимая кнопку лифта, и скороговоркой шепнул на ухо – Слышали из сорок девятой квартиры-то вчера увели? – И снова громко пожелал спокойной ночи.

Мазурик глубокомысленно кашлянул, зашел в лифт и погляделся в высокое, в рост человека, зеркало. Перед ним стоял дородный, красивый мужчина в белом командирском полушубке. Щеки играли здоровым румянцем, а на усах еще чуть поблескивал иней. В лифте пахло дорогим табаком. Матвей Ильич уже представил, как выкрадет сейчас из буфета «Герцеговину флор», что лежала там для гостей, и затянется в своем кабинете у большого окна с видом на Кремль. Тут дверь лифта открылась, и на четвертом вошли трое мальчиков. Они назвали тот же восьмой этаж. Дети были без верхней одежды, один в лыжном костюме с начесом, держал за руку брата – толстого карапуза лет четырех, другой, черноволосый, в круглых очечках, был одет в шорты и такие чулки с трусами, что Клавдия называла колготами и просила достать ей. Двое старших были в пионерских галстуках.

– Ну что? – добродушно спросил Мазурик, – как дела у юных ленинцев? Готовы к бою?

– Всегда готовы! – отдали честь в пионерском салюте, мальчики. – На собрании нашего дома, – начал тот, кто постарше, – мы постановили усилить работу с непартийными жильцами, с гражданами младенческого возраста, чтобы готовить их с колыбели к борьбе за мировую революцию.

– Это правильно, – одобрил Мазурик. Выйдя из лифта, он стал было поворачивать ключ в своей двери, но оглянулся – мальчишки стояли за спиной.

– А мы к вам! – радостно сообщил старший, – простите, что сразу не узнали, мы про вас, товарищ Мазурик, в книгах читали, хотели даже вашим именем отряд назвать, – но оппоненты (мальчик покосился на очкарика), – набрали больше голосов в пользу пролетарского вождя Германии, товарища Гитлера.

– Ну ничего, ничего – похлопал он по плечу пионера, – с немецкими рабочими надо дружить, – А вы что, ребята, на сбор меня хотите позвать?

– Нет, что вы, – выпалил мальчик и сбился – то есть да, конечно... но потом, а сейчас мы к вашему Яше, хотим провести с ним работу по вступлению в пионеры.

Мазурик тут же захлопнул дверь.

– Нет, – сказал он, – к Яше теперь нельзя. У него scarlatina, – соврал он первое, что пришло в голову.

– Как это? – язвительно спросил второй пионер, подтягивая шорты вместе с этими колготами аж до самой груди, – они сегодня с няней гуляли.

– Резко поднялась температура. Доктор сказал, это заразно, идите мальчики по домам, а с Яшей я сам проведу беседу, подготовлю его к революционной борьбе, даю вам честное полярное – пообещал он.

В это время открыл рот малыш и выпалил:

– А Сележа сказал, что ваш лебеночек не настоящий!

Брат дернул его за руку, мальчишки смутились и, грохоча, побежали вниз по ступенькам.

Только Мазурик одел домашние тапочки, навстречу вышла жена:

– Яша заболел, – сообщила она, целуя мужа в щеку.

Матвей Ильич хмыкнул, подумав: «Вишь как выходит, скажешь кому и вот-те-на, правильно в народе говорят – как в лужу пёрнешь». Супруги прошли в детскую. Там суетилась няня, недавно привезенная лично Мазуриком из псковской деревни, грамотная и не болтливая. Она бегала по комнате и причитала слезливо: «Где бо-бо у Яшеньки? А хочешь рыбку ням-ням? За папу, за маму, сардиночка ледяная, свежая» – она, плотоядно улыбаясь и чмокая,

делала вид, что засовывает в рот сырую, замороженную, рыбку, которую держала за хвост двумя пальцами. Яша тихо и безучастно лежал в своей кровати.

– Pizda нестроевая! – вырвалось у Мазурика.

Няня обиженно возразила:

– Чо это не строевая?

Клавдия Генриховна поморщилась.

– Ну а что? Сколько можно повторять, нельзя их класть на спину, они не могут перевернуться сами, на животе, твою мать, надо держать, а еще лучше стоя.

– Виданное ль дело, чтоб дитя стоя спало, – заворчала нянька, – и все то у них по-новому.

Матвей Ильич, разом успокоившись, взял Яшу на руки и стал вытирать ему глаза пеленочкой, что лежала на столе под книжкой «Сказка о рыбаке и рыбке». Глаза слезились, это соль выделялась из подбровных мешочков, и Яша, которому не нравилась такая процедура, быстро защелкал.

– Родионна, ведь и питьё опять пересолила – уже мирно сказал Мазурик, – тебе Клавдия Генриховна сколько говорила соли в воду сыпать?

Няня в этот раз промолчала и отвернулась, поджавши губы. Матвей Ильич подкинул Яшу вверх: «А ну-ка, марш купаться, раз-два!»

И, бодро напевая «Закаляйся, если хочешь быть здороооов», понес его в ванную, наполненную ледяной водой, в которой еще плавали комья снега. Он затрепетал всем тельцем, начал вырываться, увидав эту воду, Матвей Ильич разжал руки, и Яша радостно плюхнулся, обдав стены холодными, солеными брызгами. Он начал плавать от одного конца к другому. «Так-то лучше, – сказал ему Мазурик, – а то болеет-болеет, не понимают эти бабы нас, полярников».

Из той секретной экспедиции с американскими товарищами, сочувствовавшими Советскому Союзу, наряду с пятилитровой бутылкой их поила-виски, с удивительным электрическим ящиком для охлаждения продуктов, креп-жоржетом для супруги и какими-то еще иностранными финтифлюшками, Матвей Ильич, бывший там, по легенде, инструктором в рабочем аэроклубе, привез еще один подарок – живой. Товарищ Элсуорт, хоть миллионер, однако великодушный и храбрый человек, с которым Мазурик прошел немало ледовых испытаний, лично подарил ему на прощание императорского пингвина.

– Я слышал, – сказал он, – в России много снега, и по улицам гуляют медведи, так пускай в Советском Союзе живут и пингины!

Про душное московское лето миллионер конечно, не слышал, и, какие страшные рожи не корчил тот тип из Советского посольства, махая рукой, откажись, мол дурень, Мазурик не мог не принять подарка. Тем более пингвин предназначался для мисс Мазурик, чтобы та держала его для забавы на своей загородной вилле. Матвей Ильич был изрядно под хмельком, и вылетая из Ванкувера, приказал посадить пингвина рядом с собой в самолете. А уже в Москве, когда командир экипажа, Валерка, с трудом разбудил его, Мазурик долго тарасился на птицу, ростом с пятилетнего ребенка, что стояла перед ним в салоне.

Так и началась жизнь пингвина, которого называли Яшей в честь товарища Свердлова, в квартире большого московского дома. Соседям супруги говорили, что усыновили чернокожего ребеночка из американских трущоб, чьи родители погибли в борьбе с империализмом. Во дворе Яшу приняли спокойно, будь двор поменьше и попроще, наверное бы возникли вопросы: «В какую школу пойдет? или как обстоят дела с профилактикой туберкулеза?» – но во дворе этого Дома было легко затеряться среди многочисленной детворы, гуляющей с мамами, бабушками, нянями и домработницами. Так что к Яше никто особенно не лез, а если что и спрашивали, то Клавдия Генриховна, а затем и нянька Родионна, отвечали, что дитёночек этот носатенький – американец, сиротка, по-русски не говорит, а лицо закрыто, потому что не привычно дитя к московскому холоду, то ангина, то инфлюэнца. Ему купили цигейко-

вую шубку в Детском Мире, рукава которой набили ватой, просунув туда варежки на резинке, шапочку, застегивали плотно, а сверху наматывали оренбургский пуховый платок Клавдии Генриховны. Труднее было с валенками, поначалу Яшка вырывался и убегал, не желая в них влезать, но потом все же приучили по системе Дурова, давая по анчоусу за каждую обувку. Он гулял с няней во дворе, как обычный маленький москвич, степенно ковыляя рядом, а по выходным и сам Матвей Ильич прохаживался с Яшей по набережной напротив Кремля. Они иногда брали салазки, и любимым развлечением было, когда Яша ложился на живот и мчался по снегу, отталкиваясь лапами, как это делают пингвины в диких условиях. Со стороны все выглядело как обычная забава папаши с малолетним наследником.

Свое первое в Советском Союзе лето Яша провел тогда на даче в Поливках, и там под охраной, да за высоким забором трудно было разглядеть пингвина во дворе, к тому же, большую часть времени он проводил в американском холодильнике.

Прошло несколько месяцев после того визита пионеров. Стремительно и неудержимо надвигалась новая весна, гуляя ветрами по Красной площади, журча ручьями и звеня трамваями; во дворе появились первые «классики» и ученицы первого уровня, сложив горкой портфели, прыгали распахнувшись; шубы и шапки стали переключиваться на антресоли, усыпанные нафталином; московская шпана уже похаживала в развалочку в клетчатых пиджаках, что вошли в моду; а Матвей Ильич нет-нет да влезал в свою американскую летчитскую куртку, с большим количеством молний на мягкой коричневой коже. Однако, обитатели квартиры Мазуриков в тайне желали, чтобы зима продолжалась подольше. Трудно было смотреть на бедного Яшу, когда наступали теплые деньки, к тому же холодильник, не рассчитанный на пингинов, стал барахлить. Клавдия Генриховна раздражалась, было жалко, что на глазах ломается ценная и хорошая вещь, которых во всей Москве раз два и обчелся, подкладывала вниз тряпку, что за ночь становилась мокрой. Такие холодильные камеры уже начали выпускать в Харькове на тракторном заводе, но достать это для частных нужд, даже Матвею Ильичу, не представлялось возможным.

– Ничего, Яшенька, голод пережили, гражданскую войну, а уж лето мы с тобой как-нибудь переживем, – гладил он птицу с опорхшими крыльями. – А давай на стадион Динамо поедем футбол смотреть? Там тебе понравится, честное полярное. Сядем на первых трибунах, будем болеть и мороженого накупим. Футбол, Яшка, это дело, факт!

Мазурик теперь остепенился, он и сам замечал за собой это, думая «уж не старость ли?» Даже балеринка из Мьюзик-холла на Каланчевке, что, впрочем, уже закрыли за буржуазность, и по которой он с ума сходил последний год, его больше не волновала. К собственному изумлению, Мазурику все больше нравилось бывать вечерами дома, особенно когда Родионна читала сказки. Яша больше всего любил Пушкина, это давно заметили все домашние. Как только няня начинала про зиму, он стоял заворуженно, не шевелясь, на паркете и слушал, не отрывая от няни черных пуговок глаз: «Зима, крестьянин, торжествуя на дровнях обновляет путь» (дровни – это, Яшенька, санки такие) или вот «Мороз и солнце, день чудесный!»

Незаметно и Матвей Ильич с супругой привыкли к няниным сказкам, слушая их под оранжевым абажуром. Мазурик попыхивал Казбеком, они с Родионной целыми вечерами обсуждали Яшины проделки и смеялись до слез. Клавдия Генриховна в тех разговорах участвовала редко, считая это ребячеством, к тому же она занималась серьезной работой – вышивала картину «Мы пойдем другим путем», где молодой Ленин утешает мать. Эти сказочные вечера были так спокойны, и казалось, литература сможет предотвратить нечто, надвигавшееся неумолимо, как и эта весна.

Однажды, субботним утром, это было за неделю до майских, Матвей Ильич, сидя в пижаме за столом и затягиваясь с наслаждением первой папиросой, развернул газету

«Правда». Она начиналась с передовицы об опасности мелкобуржуазной стихии, там клеймили джаз, к которому пристрастился и Мазурик после поездки в Америку, даже сам иногда баловался саксофоном; а также подвергались критике недалновидные товарищи, имевшие в прошлом заслуги перед социалистическим отечеством, а ныне увлекшиеся западными ценностями, забывая учение товарища Сталина о классовой борьбе. Как обычно, он кое-что зачитал жене. Хотя здесь и не указывалось конкретных имен, но супруга Мазурика смекнула, что это камень и в их огород. Свои догадки она тут же озвучила.

– Что за чепухенция!?! —

рассмеялся Матвей Ильич, глянув поверх очков на жену, которая с большим грузным подносом, плавно, словно баржа, подплывала в ту минуту к столу и принялась разгружать балычок и семгу.

– Не мечи икру, Клава, – он шутливо ущипнул супругу за пышное бедро, – Почему это обязательно про нас? Это про других, мы ведь честные люди и, в конце концов, что мне могут сделать, я – герой гражданской войны и полярный летчик. Стыдись малодушия. Нам нечего бояться, мы растим из Яши настоящего советского пингвина. Он полком еще командовать будет, вот увидишь!

Клавдия Генриховна вспомнила соседа: «Михаил вон тоже был героем, а расстреляли», – однако промолчала. Не хотелось заводить серьезного разговора, сколько всего надо было еще переделать до праздника. Квартира их, большая, как музей и, как музей, набитая удивительными вещами, выглядела теперь беспорядочно и дурашливо, как бывает перед генеральной уборкой, и все не на своих местах: шашка, с которой Матвей сражался в гражданскую, лежала на плюшевом медведе, словно тот готовился к наступлению; на здоровенной копии Авроры – подарок Ленинградских судостроителей, как паруса, висели кружевные салфетки, снятые отовсюду; а фотоувеличитель был наряжен в парадный мундир хозяина. И все же не могла Клавдия Генриховна отделаться от мысли, что Мотя постоянно избегает разговора о чем-то важном. И она тоже решила не поднимать эту тему. Пока.

А жизнь во дворе текла своим, уже весенним распорядком: дворники красили скамейки; водители ждали своих начальников, покуривая на улице; ответственные лица спешили по делам, расстегнувши пиджаки; няньки катали открытые коляски. До темна гоняли мяч ребята на спортивной площадке, они иногда звали Яшу, но тот проходил мимо. Как-то девочка пригласили Яшу в хоркружок, но он, понятное дело, не ответил.

После майской демонстрации семья поехала в Поливки. Первый день дачного сезона, Мазурики называли «майский субботник» вне зависимости, какой на самом деле это был день недели. Работали все: Матвей Ильич задавал тон, то подбивая штакетину к забору, то подпиливая сухую яблоню. Клавдия Генриховна в гимнастических брюках, облежавших еще больше располневший за зиму зад, подгробала дорожки перед домом, кидая сушняк в костер. Родионна ковырялась в огороде, и Яша был при ней, он разгуливал между грядок в старой буденковке Мазурика, которую тот, смеха ради, раскопал в дачных тряпках. Начало мая выдалось холодным в этом году, того и гляди снег нагрянет, и все в доме были рады этому. Вечером, как и в московской квартире, они собрались под абажуром, который оставлял круглое яркое пятно на потемневшем за зиму потолке. Матвей Ильич щедро, а может, даже и чуть нервно, подливал всем горилки, женщины раскраснелись, затянули песни, Мазурик тоже выводил густым баритоном «по долинам и по взгорьям», а потом Родионна еще и сплясала под граммофон, пропев пару не приличных частушек, чем окончательно подкупила Матвея Ильича, который смеялся до слез, несмотря на то, что супруга выглядела недовольной. Спать Яшу отвели на веранду, где было прохладно. «Эх нет ванны, нашему Яшеньке и мырнуть-то некуда» – сокрушалась няня. Было весело, но будто бы все что-то не договаривали, и ощущение покоя в доме пропало.

На следующий день после возвращения с дачи, в квартире Мазуриков раздался телефонный звонок. Трубку взяла Клавдия Генриховна, незнакомый мужской голос пригласил Матвея Ильича.

– Он будет после восьми, перезвоните.

– Это из парторганизации Дома передайте, что мы ждем его на собрании в Красном уголке в семь часов завтра. Явка строго обязательна.

– Можно уточнить повестку? – поинтересовалась Клавдия Генриховна.

– Борьба с врагами народа, что маскируются партбилетами и подрывают достижения социализма – жестко произнесли на другом конце провода и трубку положили.

Сердце Клавдии Генриховны ухнуло, к горлу подступила тошнота, схватившись за грудь, она присела на диванчик в коридоре. Яша с Родионной в это время гуляли в парке Горького. Посидев немного, Клавдия Генриховна прошла в гостиную, открыла буфет красного дерева, достала горилки и, налив в бокал с надписью РККА, хлопнула залпом.

Она многое передумала за этот день и вечером, сказав мужу о звонке, стала умолять сдать Яшу.

– Ну куда же мы его денем, дурында? – отвечал Матвей Ильич, – в московский зоопарк не возьмут, я же наводил справки, был бы хоть Яша тово, попроще, а тут, императорский пингвин. И откуда он у нас? Это же государственная тайна. Да не в этом дело, мы не можем предать Яшу. Так не поступают советские люди, не по-сталински это! Но я что-нибудь придумаю, обещаю.

Клавдия Генриховна плакала, убеждала, что с пингином пора покончить, он всех на дно потянет, говорила, что не переживет, если что-то случится, но муж был непреклонен. Спала она плохо, тем более что холодильник всю ночь тревожно грохотал.

Однако, вечером следующего дня Матвей пришел с собрания в приподнятом настроении, еще в коридоре напевая: «Сердце красавицы, склонно к измене». Усевшись в свое любимое кресло в гостиной, Матвей Ильич со смехом начал: «Ну пошла писать губерния, ищут теперь какого-то шпиона, американского, кажется, который то ли живет, то ли бывает в нашем доме. Откуда эти сведения – непонятно. Если кто-то шпиона укрывает, то правда, «перерожденцы с партбилетами», но скорее всего, это простая ловля блох, перегибы, как говорится. В общем, всех просили не терять бдительности.

– Откуда столько врагов? – задумчиво произнесла Клавдия Генриховна, подперев голову руками – Не может быть, что среди нас шпионы. Щец налить? Да, и прямо сегодня, не откладывая, скажи, Родионне, чтобы перестала баловать Яшу сказками, она теперь только тебя и слушает, пора уже что-нибудь советское ему читать.

На следующее утро Мазурик готовился ехать в управление. Встреча предстояла архи-ответственная, собирался весь штат и приглашенные специалисты по поводу строительства Северной дороги, Матвей Ильич должен был читать доклад о возможностях обеспечения самолетов аэротопливом. Он брлся в ванной, напевая, и было чувство, что большая черная туча прошла мимо, не задев их. Клавдия Генриховна гремела посудой на кухне, Родионна что-то бубнила в детской. В дверь позвонили. Матвей Ильич наскоро набросил парадный мундир со Звездой Героя и пошел открывать – конечно важный день, но что-то слишком уж рано приехал водитель.

Она распахнул дверь и остолбенел, на пороге стоял милиционер, за ним дворник, а дальше, на лестничной площадке почему-то толпились дети. Они галдели до этого, а тут разом умолкли, спрятавшись за взрослых.

– Лейтенант Максимов, – козырнул милиционер. – Юные следопыты из пионерской организации проявили бдительность. Они утверждают, что выследили американского шпиона, который проживает на вашей жилплощади. Что вы можете сказать по данному поводу? Вы

сознаетесь, что укрываете врагов? Прошу всех предъявить документы. Есть в квартире посторонние?

– Вот и все – стукнуло сердце, однако мозг, как бывало с Матвеем Ильичем за штурвалом, в опасных ситуациях, стал бешено работать, отыскивая пути спасения, и неожиданно Мазурик лихо козырнул, улыбнулся широко, гостеприимно распахивая дверь: – Никак нет, товарищ лейтенант, чужие здесь не ходят. Проходите, ребята, не стесняйтесь. Здоров, Тимофеич, как жизнь молодая? – обратился он к дворнику.

Дети боязливо вышли из-за милицейской спины и осторожно перетекли в переднюю, не забывая, даже, вытирать ноги. Тимофеич промолчал и остался на месте.

– Знакомьтесь, – развернувшись по-военному и шлепнув тапками, Мазурик вытянул руку вперед и объявил зычным голосом, может быть даже слишком торжественно, учитывая, что половина лица его была в мыльной пене. – В прошлом императорский, а нынче, до мозга костей наш, рабоче-крестьянский, первый в мире пингвин Страны Советов!» И затем по-отечески ласково произнес: «Яша, выйди, пожалуйста, к товарищам».

Двери детской открылись, и навстречу гостям заковылял Яша, из-под крыла которого высовывалась книга «Детям о Сталине». Его подталкивала сзади Родионна, легонько шлепая ладонью по спине. Милиционер опешил от неожиданности, потом вытянулся, щелкнул каблуками и отдал пингвину честь. Ребята молча построились вдоль стенки, сначала одна рука нерешительно потянулась вверх, за ней другая, третья, и вот уже весь отряд дружно вскинул руки в пионерском салюте.

## МАЛЬЧИКИ КРОВАВЫЕ

### псевдоисторическое повествование

– Да не дери его стиригалиями, як порося, кожа у него нежная, не нам чета, эк безрукий какой, – наставлял камердинер Збигнев Гостя хлопца, что поступил на днях в княжеский ошарок – право же безрукий, одна рука короче другой. А ежели пан шо попросит то, не нашего ума панска забава, зроби шо велят. Ну добже, – он толкнул Юшку в голую спину, и хлопец скрылся в парной завесе.

По предбаннику тянулись половики в цвет польского флага, дубовый стол с напитками, лавки и кушетка, застеленная богатыми шелковыми покрывалами. Стоял запах березового дегтя, и Юшка неожиданно вспомнил что-то из детства: зеленая лужайка на заднем дворе в Угличе, березонька, на стволе которой они с Васькой вырезали ножиком, пока мамки не видели. Возле такой, примерно, березы, стояла и я когда-то, жарким июньским днем в монастыре на берегу Волги и готова была все это представить – крик мальчишек, свист, лай, конское ржание, страшный вопль женщины, – как бы не многочисленное турье, что ходит вокруг и гомонит.

В парной меж тем, слышался плеск, кряхтение, шлепки по мокрому телу и прочая колготня. Тот, кого мы назвали Юшкой, тихонько присел на край скамейки и стал ждать, поеживаясь и горбясь. Мышь проскочила в угол. Наконец, открылась дверь и с большим клубом пара, так что Юшка сморщился, в предбанник вошел князь Вышецкий, дородный и спесивый, хоть растолстел, а видно, мнит себя молодцем. Даже в бане, где царь подобен холопу, он сохранял статью и величие, не то, что Юшка. От красной кожи валил пар. Князь подошел к кушетке в изнеможении и громко охая и кряхтя, растянулся. Юшка видел, как в такт тяжелому дыханию поднимался и опускался большой живот с седеющей шерстяной полоской к пупку. «Ай не могу, як дивно!» – приговаривал пан Вышецкий. Двое банщиков вышли следом, кланялись в ноги и молча удалились, тихонько закрыв за собою дверь, один, почему-то ухмыльнулся, глядя на Юшку.

Пан Вышецкий, полежав немного, приказал подать питье. Юшка быстро вскочил, налил пива из деревянного сосуда и поднес пану. Тот сделал несколько крупных глотков, пиво протекло, и струя жидкости пошла по подбородку, затем по шее, и остановилась меж волосатых сосков.

– Вытри, – пошевелил мокрыми губами пан, а усы его, от пивной пены стали в два раза пышнее. Юшка схватил вышиванку, что лежала на скамье и стал промокать грудь пана. Тот, приоткрыв один глаз, произнес: «Руками». Юшка тихонечко, двумя пальцами провел по княжеской груди. Тот, взял его руку и быстро опустил на свою елду, а другой рукой схватил Юшку за волосы и ткнул его голову в седеющий густой пах. На Юшку пахнуло чем-то человеческим и затхлым, не смотря на баню, так что он, не сдержавшись, резко отвернулся от пана, проглотил тошноту и замотал головой. Князь вскочил, куда только парная истома девалась, глаза налились кровью, он принялся лупить Юшку по обоим щекам, особенно больно задевая бородавку. Тут и на Юшку нашло: он сжал кулаки, шея и щеки, чистые, как у девки, покрылись пятнами, глаза вылезали из орбит, затопал ногами и завизжал что-то несусветное: «Да как ты смеешь?! Я сын Ивана Грозного, наследник Русского престола, Дмитрий, а ты хотел из меня свою колоду сделать, гниль поляцкая?»

Князь опешил. Русского царя он видел лишь раз, когда с миссией от Сигизмунда-Августа ездили в Москву, но тогда ему хватило на всю жизнь. И Вышецкому на мгновение показалось, что это не холоп, потерявших рассудок, орет на него, а сам Иоанн Грозный, страшный и в гневе безумный, поднялся из могилы.

Так они и стояли напротив друг друга оба голые, один седеющий польский вельможа, другой – тощий парнишка, с большой родинкой на плече и одна рука заметно короче другой. Хлопец хорошо говорил по-польски, но все же что-то, с точки зрения старой придворной лисы Вишецкого, было не так, что-то выдавало в нем не поляка. Так что, когда сел хлопец на лавку, разом успокоившись, тогда и князь уселся рядом, да не на кушетку уже, а на деревянную скамью подле.

– Чем докажешь? – глухо спросил князь, глядя в пронзительные и умные глаза мальчишки.

– Крест царский, когда тятка Богдан увозил меня из Углича, матушка, Ее царское величество, благословили меня им. Этот тятка и велел мне Юшкой зваться до времени, пока собака Борис Годунов на престоле, он змей, хочет весь наш род истребить Рюриковичей. Богдан умней их оказался, сначала он меня в постели подменял, думал я не знаю, а мне уж восемь было, только засну вроде, он меня хватить и в другую спальню. А вместо меня Ваську конюхова кладут. А потом и вовсе увезли от греха и точно, слышал я, моего Ваську вместо меня зарезали, когда он в тычки играл. Пырнули в шею, а сказали падучка, дескать, он сам на кинжал ухнул. Не будет Борису прощения, за всех отомщу, как приду в Москву!

Сказал он, сверкнув глазами и после небольшого молчания, так же внезапно, как в царя только что, снова превратился в холопа:

– Пустите меня, пан, я схожу в тайник и крест вам принесу.

– А не брешешь? – прищурился князь, – если наврал, мои люди тебя везде найдут, кожу с живого сдерут и на березе развешат.

– Не вру. Я так и есть, русский царь – сказал тихо парнишка и перекрестился, уткнувшись в пол. – Велите, чтобы пустили меня к вам в полночь.

Весь вечер дворцовая челядь ломала голову, что случилось с паном? Какой он странный пришел из бани: рывкнул с порога на румяную горничную Олешу, отчего та, привыкшая лишь к пановым любезностям, пукнула от страха, снес каким-то чудом канделябр на лестнице, ну а главное, вместо того, чтобы закатить пир по обыкновению, после бани, заперся у себя в кабинете и ходил из угла в угол, как подсмотрела Олешка. Камердинер Гостя попыхивал трубкой и чесал репу: «Видно бородавчатый не угодил, – сокрушался он, – не смотри что с лица чист, ровно баба». А потом Збигнев, решив, что много думать вредно, может просто угорел пан, в иной раз надо лучше проследить, как трубу закрывают, успокоился и приказал водки.

Вот луна взошла на небосклоне, что светит и над угличским берегом, и над кремлем в Москве, где беспокойному Борису Годунову снятся «мальчики кровавые»; стала она озирать желтым, единственным глазом своим и богатые панские уголья: леса и доли, до замка добралась и давай подглядывать, как спит, стуча башкой об стол Гостя и графин с водкой дрожит от храпа; как молится Матке Боске Олеша, тайком молится, ведь в доме их православные порядки, умоляет простить согрешения плотские с вельможным паном; как пан сидит, глубоко задумавшись на диване и курит трубку; а тем временем, чья-то неведомая фигура движется по лесу прямо к дворцовым воротам, освещает ей путь светило – спешит ночной путник, видать срочное дело.

Постучался он в ворота и сразу открыли, к пану повели без промедления. Пан встал, подошел к окну и самолично задернул шторы в своем кабинете. Так что не видела луна, как хлопец достал из-за пазухи сверток в серой тряпице, от него упали несколько комков чернозема и сухая трава на красный господский ковер. Развернул он старую тряпку и крест достал, усыпанный драгоценными камнями так обильно, что князь ахнул.

На следующее утро от дворцовых ворот поскакал гонец с бумагой к младшему брату. Константин Вишецкий был более искушен в политике и как член сейма, имел влияние на короля Сигизмунда. Брат не заставил себя долго ждать, даже сутки не прошли, как его богатая карета остановилась у ворот замка. Константин, не сняв и дорожного платья, пропитан-

ного пылью, сидел в кабинете брата, статный и несмотря на усталость, красивый. Загляделась на него Олешка, чуть поднос с пивом не уронила. Разговор в кабинете шел очень тихо, так что, как не прикладывала горничная ухо в замочную скважину, то одно, то другое, так ничего и не услышала.

Вскоре пришел тот бородавчатый, что на днях в ошарок поступил, только не узнать его теперь – одет в богатое княжеское платье, накидка с мушками, красные сапоги и шапка, обшитая мехом, которую он так лихо заломил на затыль, будто всю жизнь эту шапку и носит. Лицо смышленное, хотя и далеко не миловидное, приобрело привлекательность, но почему-то не приглянулось Олешке.

Допоздна сидели трое за столом, прерывая разговор лишь когда приходили слуги подать еду. Они обсуждали стратегический план похода на Московию. Было решено, что сначала пан Константин и Его Высочество Дмитрий (они, видно, сразу нашли общий язык) объедут всех влиятельных вельмож сейма и затем добьются аудиенции у короля Сигизмунда. Первым в списке был Юрий Мнишек, даже не потому, что этот старый царедворец был охоч до интриг, не потому что у него было немалое войско, а потому, что у Мнишека была дочь на выданье – Маринка. И что б не взял Дмитрий в супруги какую-нибудь русскую, лучше сразу скрепить союз двух держав царским браком, тогда всем в Литовском княжестве будет спокойнее. Ну и наконец, что немаловажно, решили, какая часть русских земель отойдет во владение Вышецким.

Было уже далеко за полночь, когда разговор подошел к концу. Чтобы скрепить их союз, пан Адам приказал подать лучшего вина и, разбуженный внезапно, еще хмельной Гостя, долго возился в подвале, недоумевая, что за праздник среди ночи у вельможного пана. Заговорщики выпили из серебряных кубков за союз двух держав, за русского царя и за Польшу в отдельности, буженинкой закусили. Усталый Константин зевнул громко, развалился на диване, ласково взглянул на Димитрия и осторожно приобнял его. Тот не отодвинулся, ответил преданной улыбкой, глядя в глаза пана сначала, а затем, как девка, потупясь долу, и, ничуть не смущаясь, тоже обнял его, прижавшись плотнее. «Нет, не похож хлопец на царя Иоанна, – подумал Адам Вышецкий, наблюдая за этой игрой, – да уж какая теперь разница».

«Динь-динь-динь» – пела синичка, порхая возле монастырской стены.

«Дан-дан-данн» – вторили ей капельки, падающие на камни, сваленные артельными у собора, и на снег, талый под застрехой. Тишина. Все в кругом знают, пока идет обедня – ни гу-гу, больно строг игумен, разве собака какая в слободе тявкнет, и то выйдет хозяин, замахнется: «Вот уж я тебе, пустобрех, гляди голову отрежут».

К весне дело, вот и первые оттепели, а как сгонит снег, так начнутся работы. Отец игумен собирался укрепить стены обители, купола золотить к Пасхе, новые башни надо пристроить, да и братские корпуса пора расширять, почти триста иноков здесь уже. Чудной это был монастырь, ни пасеки, ни угодий с пашнями и лугами, да и скота, кроме лошадей, не держали, никаких огородов, мельниц и гумен, и как велит игумен, – одни конюшни.

В Покровском соборе заканчивалась служба. Догорали свечи, церковный хор затих уже, псаломщик лишь бубнил в углу, а монахи по очереди подходили к отцу игумену:

- Благословите, отец игумен.
- Ступай с миром.
- Благословите, владыко.
- Иди, брат, да не грешни боле.

Расходилась братия, разбирая метлы из притвора, отправлялись по кельям, чтобы опять собраться вскоре на общую трапезу. Лишь игумен Иоанн переговаривался тихо со своим духовником отцом Евстафием в темноте опустевшего храма. Скрыта от нас та беседа, но горячо, видно, раскаивается отец игумен в грехах, слезы льет и на колени становится, в грудь себя бьет

и поклоны отпускает. От тех поклонов земных, сказывали иноки, кого в свои покои игумен приглашал греть постель, большая шишка у него.

Чуть повыше клочковатых бровей набил он шишку, густые некогда были брови, и борода была знатная, а с тех пор, как хотел оставить свое поприще, сказывают, повылезали все волосья и торчат теперь кой-где клоками. Наконец, вздохнул глубоко отец Евстафий и накрыл епитрахилью, стало быть, разрешает грехи его.

Монахи собирались в трапезной. Все ждали отца игумена, так как без его благословения не смели садиться. Пришел отец Иоанн с отцом Евстафием и братия, сотворив молитву, чинно расселась за столом, на котором стояли репа с капустой, моченые яблоки, брусница, каравай хлеба и, в зависимости от важности дня по святым – рыба. Либо обычная стерлядь с белорыбицей, либо осетрина по праздникам, а их как известно, в церковном календаре немаловато. Икра, так же, черная в деревянной братине стояла посреди стола. А из напитков, как всегда: кисель да сбитень, щи да квас, пиво и брага, перцовка, колганка, анисовка, наливка яблочная, грушевка, мед хмельной, хоть, как и сказано, без пасеки монастырь обходился. Отец игумен не садился трапезничать с братией, а по благочестивому монастырскому обычаю, взяв в руки четки, начинал чтение с наставлениями монахов на каждый день. Случалось, что кто-нибудь провинившийся, связанным лежал в ногах его, ожидая прощения. Ну а когда заканчивалось чтение, тогда инокам было позволено слово молвить. Тихий гул начинался где-то с краю стола, кто шепчет что-то другому, кто хохотнет, кто рыгнет осторожно, рот перекрестив, потом, по мере того как глаза братии туманятся, иной и нож достанет из подола, начнет им поигрывать, а если жарко, позволено и подрясник распахнуть под которым кафтан золотом шит. Начинаются общие разговоры, сдобренные шуткой. Начинал, как правило Василий Гвоздев, балагур и господский постельник. Взглянет на грозного игумена своим острым глазом, потупится и спросит смиренно:

– Позвольте, отец игумен, вашей светлости загадку загадать? – Вытрет рушником свои рыжие усы и степенно, словно крадучись, начнет: – А чем скажите, ваша милость, отличается от свиньи на вертеле боярыня из Курских, что воняла паленым надсы и визжала перед братией, раздвинув ляжки свои жирные и мандой лохматой...

Не дозволит, бывало, отец игумен завершить эти речи. Прервет дерзкого Васю своим громовым хохотом и залъется, закинув вверх клочковатую бороду, до слез смеется, и братия тут же молодецким гы-гы-гы поддерживает, так что стены дрожат. Любил отец игумен Васю за веселые шутки. Но скор и на гнев был: «Хватит ржать, песье отродье, пора за работы!» – так крикнет, что все охальники языки прикусят.

Остатки со стола выносили нищим за ворота и на послушание. А оно одинаковое для всех, и отец игумен его не избегал по смирению своему: садится братия на коней, метлы к подряснику, сабли в руки и вперед – лжецов поганых, изменников царских карать. Скачет воинство, лишь песьи головы по ветру болтаются. Все жители вдоль дороги прячутся по избам, клетям и подвалам. Да не спрячутся те, на кого царский гнев направлен, не уйти им от кары. Вот и вьется на колу боярин, падлюка, орет, что не виновен и царю предан, а дети его, жена, мать и отец престарелые, родственники, своякини, шурины, дети их, люд их, мужики, жонки, девки, мальцы не кричат боле, а лежат мертвые в куче возле кола. Игумен, глядя на эту потеху стоит рядом и хохочет во весь голос, глядя на собаку-боярина. А вечером опять лоб разобьет в грехах каючись в соборе, где тверские иконы и новгородские, привезенные с набегов, кровавыми слезами мироточат, да не слезами ли тех жен, коих связанными тащили молодцы, прицепив к лошадям, к рукам и ногам младенцев веревкой прикручивая, и всех в реку кидали...

«Динь-дон, динь-дон» – звякнул колоколец в царской опочивальне. Тяжелая дверь открылась, скрипнув, и монах из дружины осторожно просунул голову.

– Фёдора! – тихо позвал царь. После таких забав он весел и особенно ласков становился.

Друг дорогой, Федя Басманов, самый надежный из верников, сын преданного друга Алексея Данилыча, всегда готов утешить ласками своего владыку, который к вечеру ослабевает, что и сон не идет, даже слепцы, которые песни поют так, что и среди бела дня зевота нагрянет, их слушаючи, не выручают. Ласкового слова просит измученная душа государя, иначе он снова впадет в беспокойство. «Ох, Федюшка мой, многия врази досаждают: бояре казну расхитили, а духовные челом за них бьют, просят помиловать. Жигмонт с литовцами опричь на святую Русь лезут, да и крымский хан зырится, ни в коем нет мне помощи, Филарет и тот укоряет. Да ужо хватит, полно миловать и жалеть мне бояр поганых, я и так слишком щадил всех, был кроток с мятежниками, но ужо я заставлю их раскаяться». И от каждого слова его воняет тухлятиной. Однако не воротит нос Федя от скверного запаха изо рта, наоборот, прижимается к царю своему, да камушки драгоценные к волдырям его бесчисленным прикладывает, авось исцелят. Еле слышно говорит царь, на расшитые шелковы подушки откинувшись, темно в опочивальне, лишь два огонька дрожат и мерцают, это глаза царские, ярче лампад горят безумным блеском.

Однако дорого стоит любовь самодержца на Руси. Через несколько лет царь бросит своего Федю в темницу вместе со его отцом Алексеем Даниловичем, несмотря на ратные заслуги последнего, при взятии Казани, в частности. Чтобы молодой фаворит доказал любовь к нему, прикажет убить своего отца, что Федя и сделает, однако даже это не спасет его от плахи. Сын Федора, малолетний тогда Петр Басманов, почему-то выжил во время репрессий и, по иронии судьбы, ему предстоит сблизиться с Дмитрием, так же чудом спасшимся, младшим сыном Ивана Грозного или Лжедмитрием, как его потом назвали историки, или же вором Юшкой Отрепьевым, в конце концов.

Тревожно загудел Иван Великий, другие храмы на Неглинке, Ильинке, Покровке вторили ему в неурочный час на рассвете 17 мая 1606 года. «Что это?» – поднял голову, тяжело от мёда, выпитого накануне, царь Дмитрий I. Ее высочество, распустив по подушкам длинные черные волосы, тихо спала рядом. Дмитрий вскочил и глянул в окно – дымом воняло в дремотном майском воздухе, несколько крыш по городу лизало пламя. Он наскоро оделся. Дмитрий был диковинным царем. Никакой степенности и вальяжности, как привыкли на Москве, где раньше государей только под ручки водили. Этот один разгуливал, как хотел, мог с любым встречным в городе заговорить, охрана из немцев с ног сбивалась, чтоб разыскать его. Пирушки любил и забавы, ахти, непристойные. Виданное ль дело, даже музыкантов привечал в государевых покоях.

Дмитрий выбежал из царицыного дворца, который еще не достроили толком к ее прибытию, в длинный коридор и чуть не поскользнулся на куске телятины, выброшенной кем-то на пол (телятину на Руси не ели и подавать ко столу ее считалось предосудительным); наскочил на музыкантов со вчерашнего праздника, что опившись брагой, лежали посреди дороги; нечаянно наступил на волынку, хрустнувшую под ногой и полетел к себе. Возле дверей встретил своего тезку, Дмитрия, сына Шуйского: «Москва горит!» – крикнул тот, глазом не моргнув, (ах если бы унаследовал Дмитрий подозрительность своего отца, заметил бы, как скривилась рожа боярина). Но он ничего не заподозрил, ворвался в свои покои, обвешанные персидскими тканями, по мягким коврам пробежал в комнату, схватил саблю и хотел на пожар, но сначала решил успокоить царицу. Недавно приехала она в эту страну и все ее пугало. Марина Мнишек не могла привыкнуть к чужим обычаям, атмосфера в кремлевских палатах вызывала дурные предчувствия, она твердила супругу – опасайся свиты. Дмитрий же был беспечен и доверчив, он не боялся мятежников, ибо был уверен в добром народе своем, который и правда, любил его, но, как оказалось, до поры до времени.

Государь, спеша по коридору, опять заглянул в окно и тут он понял: это не пожар – это мятеж. Куча мужиков с бердышами, палками, рогатинами и топорами ворвалась в кремль, впереди толпы был Василий Шуйский на коне, в одной руке он держал крест, а в другой –

меч. «Ну, сучий сын – пронеслось в голове, – ведь только что тебя от ссылки спас!» К Марине было поздно, и Дмитрий воротился в свой дворец. Там уже был Петр Басманов. Они обнялись и расцеловались: «Ахти, государь, забыл ты с польской царевной надежного друга, – попенял Петр Дмитрию – не верил своим преданным слугам? Я ж тебе не дале, как позавчера говорил, что мятеж готовят, и немцы вчера докладывали».

Петр отворил окно и крикнул собравшимся внизу:

– Что надобно?

– Отдай нам своего вора, тогда и поговоришь с нами! – заорал кто-то из толпы.

– Видишь, – обратился он к Дмитрию. – Это мятежники Шуйский, Голицын и Татищев всех подняли. Они тюрьмы за ночь открыли, я слышал, народ подбивают гнать поляков, нас с тобой в амурах обвиняют, и снова тебя Гришкой кличут.

– Ах, поганое отродье! – топнул ногой Дмитрий.

– Спасайся, государь, делать нечего, а я докажу свою любовь и жизнь свою за тебя положу.

Они крепко обнялись на прощание, когда уже топот сотен мятежников наполнил дворцовые сени. «Охрана!» – крикнул Дмитрий. Однако, охрану из немецких алебардщиков, всей Москве ненавистную (будто свои хуже), князь Шуйский еще вчера разогнал, от имени царя. Те несколько человек, что остались у дворца быстро легли под выстрелами. Дмитрий поднял чью-то алебарду и крикнул толпе: «Прочь! Я вам не Борис!» Но Петр Басманов отстранил царя твердой рукою и вышел вперед, пытаясь заговорить с боярами, что стояли впереди толпы. Татищев быстро выхватил кинжал и пырнул им в сердце Петрово. Дмитрий услышал, как икнул его верный друг и рухнул на пол. Царь мгновенно закрыл дверь на засов, и бросив алебарду, помчался в старый дворец, откуда он выберется на улицу, к народу. В длинном полутемном переходе с круглыми низкими потолками уже отчетливо пахло гарью. Дмитрий добежал до двери и рванул, но она была заперта с той стороны. Это была западня. Шум толпы приближался. Он распахнул окно. По лесам, еще мокрым от влажной майской ночи, он начал спускаться. Эти леса построили на днях – для иллюминации, что государь велел устроить в своем новом дворце для царицы. Доски скользили под ногами, царь осторожно перебирался вниз, вот один пролет, другой, вот и земля уже футах в 30, но одна жердина оказалась тонкой, она переломилась, и царь с треском рухнул вниз. Он очнулся на земле, болела грудь, и теплая липкая струйка вытекала из головы, Дмитрий хотел встать, но громко охнул от боли. Подбежали стрельцы, схватили беспомощного Дмитрия и поволокли его. Он снова лишился чувств. Очнулся, когда его облили водой, он лежал на фундаменте Борисова дворца.

– Спасите царя, – проговорил Дмитрий, – я вас озолочу.

– Ты не царь, а вор Юшка Отрепьев, так Шуйский сказал, – неуверенно возразил кто-то.

– Пусть народ решит, кто я, отнесите меня к миру на площадь.

Стрельцы начали спорить меж собой.

– Я мятежников покараю, все что есть у них вам раздам, а самих бояр вам в холопы.

– Кого в холопы? – спросил кто-то из заговорщиков, подоспевший к ним – ну ка, несите его во дворец, – приказал он стрельцам. Те зароптали, мол на царя руку поднимать не божеское дело.

– Это не царь, а вор и чародей Отрепьев околдовал вас, царя Бориса отравил и теперь с Петьюшкой Басмановым сожительствоует в святых покоях государевых. – Стрельцы тревожно забубнили, ходил уже такой слушок. – Он на русскую землю поганых католиков пустил! Понавез литовцев, с римским папой якшается, православие хочет искоренить!

– Ложь это, – отвечал Дмитрий, но никто не слышал. Стрельцы понесли его во дворец. Они кинули стонущего царя на пол, как собаку. Один сердобольный немец хотел дать спирту пленнику, только ему голову запрокинул, чтобы влить в рот, как чаша полетела в сторону, выбитая чьей-то ногой и немецкая головушка, тут же отсеченная саблей, покатила след за чашей.

«Гы-гы-гы» – пронеслось в толпе заговорщиков. Они сняли с Дмитрия царскую одежду, нарядили в лохмотья и устроили потеху: усадили еле живого на высокий стул и давай зубоскалить: «Что царь, где твои поляки? Пусть они спасут тебя». Кто затрещину даст, кто за ухо дернет, кто пальцем по носу щелкнет, в бородавку целясь. «Латинских попов привел, нечестивую польку в жену взял, казну московскую в Польшу вывозил» – такие обвинения наскоро состряпали бояре. Один ударил его в щеку и сказал: «Говори, сучий сын, кто ты таков? Как зовут? Откуда ты?». Дмитрий слабым голосом ответил: «Вы знаете, я царь ваш Дмитрий. Вы меня признали и венчали на царство. Если теперь не верите, спросите мать мою, вынесите меня на люди и дайте говорить народу».

За окнами и народ вопил: «Царя нам, царя!» Опасаясь бунта, мятежники решили показать пленника. Его дотащили до Лобного места, там собралась толпа мужиков и баб, опьяненных пожаром на Ильинке, где только что рухнула крыша в доме купца Калашникова. Молодая хозяйка не успела выбраться, купец рвал на себе волосы, орал страшно и рвался в пламя. Аудитория жаждала новых зрелищ. Дмитрия прислонили к стенке и стали спрашивать: «Отвечай перед всем народом честным, кто ты?» Дмитрий второй раз ответил, что он царь. «Чем докажешь?» – раздалось в толпе и снова, как четыре года назад в бане у Вышецкого, Дмитрий остро почувствовал запах березоньки угличской, вспомнил зеленую поляну и детские игры. Любили они с Васькой канат перетягивать, а у Дмитрия, кроме явных признаков рода Рюриковичей: бородавка, разные руки и родимое пятно на плече, была еще одна, скрытая: два очень острых зуба. Эта особенность была полезной лишь в детстве, когда, играя с Васюткой в Угличе, он тихонько перегрызал бечеву и друг валился на траву, побежденный.

«Да будет божья воля! – из последних сил сказал Дмитрий – видите, слаб я от ударов и немощен. Пусть выйдет самый сильный, и мы будем перетягивать канат. Если я перетяну, это знак, что я ваш царь, если нет – делайте со мной, что хотите. Но вот мое условие – концы его будем зубами держать». Народ одобрительно загудел. Раздвигая толпу, вперед пролез здоровенный детина, выпущенный этой ночью из тюрьмы, он лихо запрыгнул на подмости, покрутился на лобном месте, засучивая рукава и заржал, обнажая свои крепкие зубы, даже полязгал ими для остратки. Тут же добыли веревку. Дмитрию помогли встать на ноги. Он еле держался, но все же крепко закусил веревку, и, как только Шуйский дал отмашку, Дмитрий, собрав последние силы и перегрыз её. Детина, как и Васька когда-то, растянулся на полу, пораженный. Радостный шум пошел по толпе: «Царь, это истинный наш царь!» – закричали в народе, мужики срывали шапки и весь люд бросился на колени: «Прости нас, государь!»

«Карать мятежников и предателей царских!» – выкрикнул кто-то. Тут Шуйский со страху, закричал громче всех: «Народ честной, не верьте чернокнижнику! Чародей и веревку заколдовал! Вы ему поверили год назад, на царство венчали, а он что? Он папу римского в гости зовет (в народе зароптали), телятину на Руси завел! Вы хотите телятину?! (гул нарастал: нет, мы не хотим телятины), он в содомском грехе с Петькой Басмановым повинен!» – это была последняя капля народного терпения, и толпа, которая только что славилась царя, злобно взревела: «Бей его! Руби!!!»

«Вот уж я благословлю этого польского свистуна», – сказал тут Григорий Валуев, достал ружье, спрятанное под армяком, и выстрелил в Дмитрия. Тело рухнуло. Кто-то спихнул ногой его с возвышения, и раздался тупой шлепок о брусчатку. Народ безмолвствовал. Потом женский голос тихонько завыл: «Господииии помилуй, царя убилииии», некоторые опять снимали шапки и стали опускаться на колени. Монах-расстрига в лохмотьях, стоявший впереди, крикнул: «Марфа Матвеевна пусть рассудит!»

Инокня Марфа сама вышла навстречу, когда тело волокли к Вознесенскому монастырю, а стая собак сзади уже слизывала кровь с брусчатки. Она на себе испытала, отчего именем «Грозный» нарекли покойного супруга, однако страх, ссылки и заточения не сломили ее духа, что всегда рвался из монастырских келий. «Твой ли это сын?!» – страшно ревела толпа, нюх-

нувшая кровушки. Инокня Марфа, статная и красивая, даже в монашеской одежде, бросила быстрый взгляд на тело, лежащее на земле, повернулась к народу и громко сказала: «Не мой». Потом наклонилась, якобы получше разглядеть самозванца – он был снова в сермяжной одежде, нет, лучше так – в отрепьях, в которых несчастный проходил почти всю свою жизнь, Марфа заметила свой крестик, чудом не сорванный. Словно, шепча молитву, произнесла она тихонько: «Когда был живой, мой был, а теперь не мой, а Божий». Развернулась и ушла в свои покои инокня Марфа, в девичестве Мария Нагая.

Нагое тело убитого царя связали и по приказу Шуйского, выставили перед народом на Красной площади, положив его на маленький, низенький стол, отчего голова и ноги свешивались. Голый труп Петра Басманова кинули на булыжники под этот столик.

Несколько дней так лежали тела, доступные для поругания: им кололи глаза, драли волосы, а кожу, все кому не лень, резали и мазали. Потом убрали подальше от Кремля. Представляю, как по мосту через Москва-реку грохотала печальная телега, тащились кони по Балчугу-болотной жиже, мимо Климентьевского острога, где теперь Климентовская церковь – за Серпуховские ворота, возможно туда, где сейчас большой подземный переход, в котором мне почему-то всегда становится жутко, везли покрытые рогожей, страшно изуродованные и обмазанные экскрементами трупы, чтобы схоронить на кладбище для бездомных.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.